



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

slaw 4120,770

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER





НАШЕ ОБЩЕСТВО

(1820 — 1870)

ВЪ

ГЕРОЯХЪ

И

ГЕРОИННЯХЪ

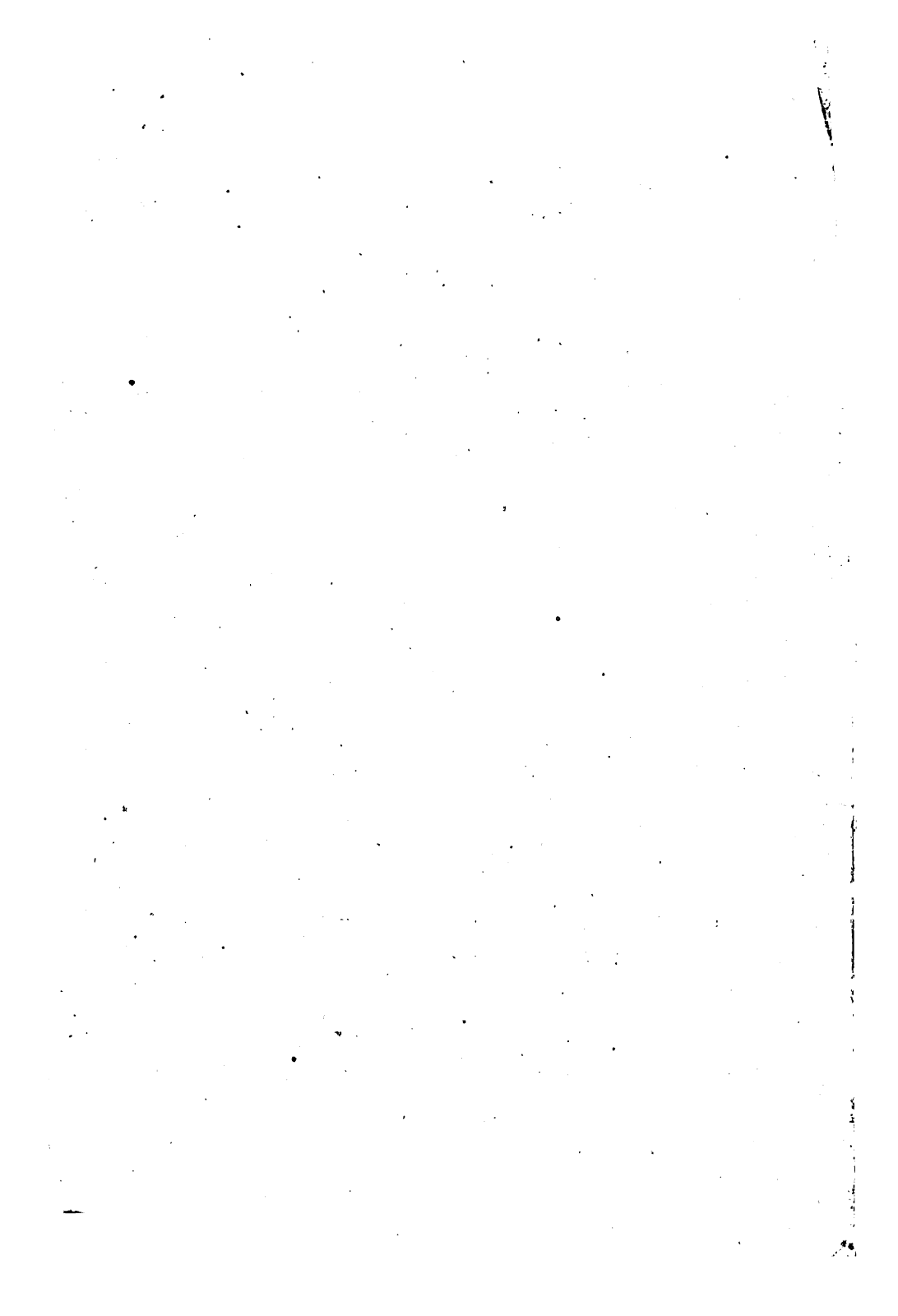
ЛИТЕРАТУРЫ.



М. В. Авдѣва.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

—
1874.



НАШЕ ОБЩЕСТВО

(1820 — 1870)

ВЪ

ГЕРОЯХЪ

И

ГЕРОИННЯХЪ

ЛИТЕРАТУРЫ.



М. В. Авдѣева.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

—
1874.

Slav 4120.770

✓



Keller

ТИПОГРАФИЯ Е. В. ТРУБНИКОВА, ЛЕНИНСКАЯ, Д. № 42.

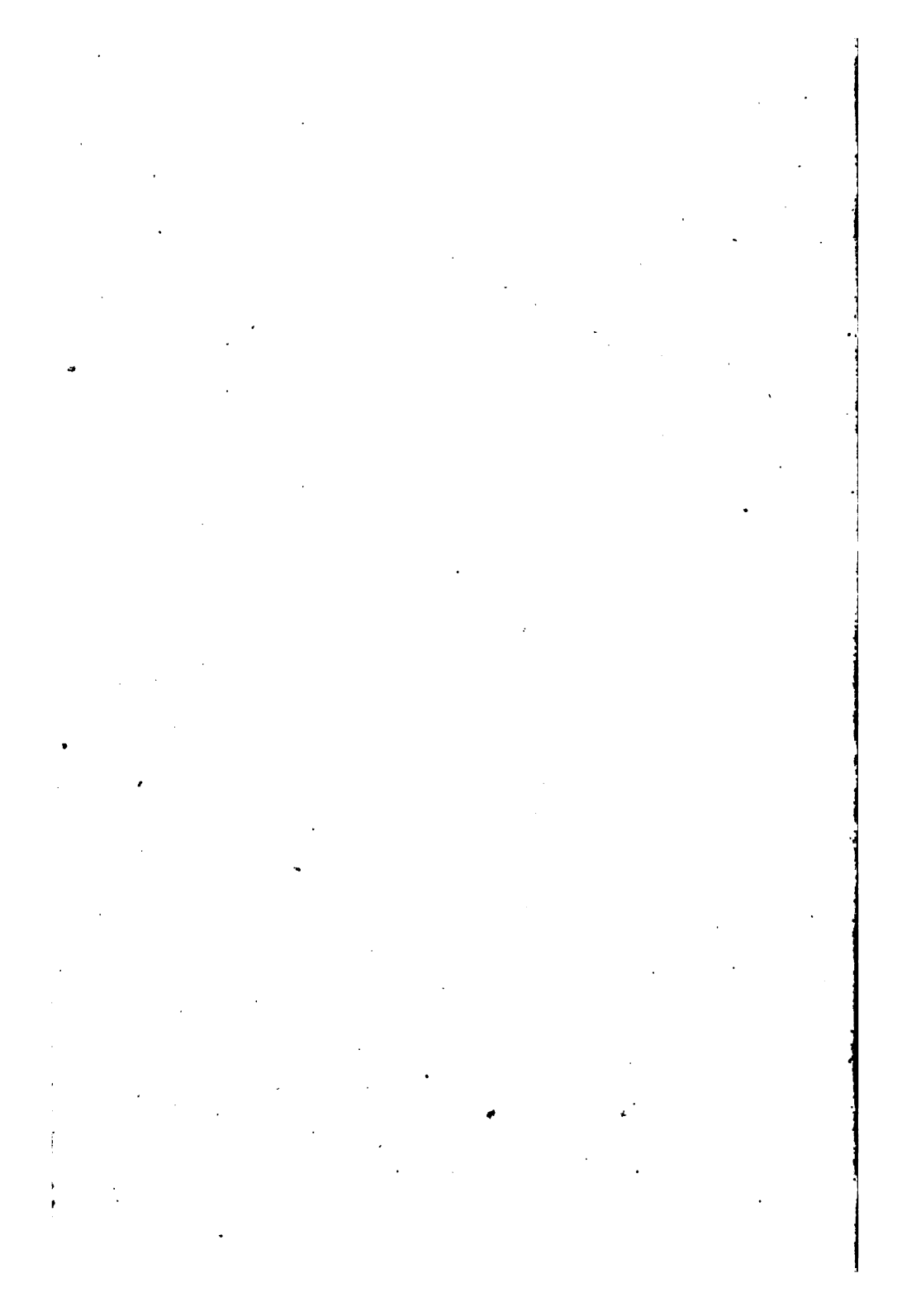
ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ I.

Герои	1
- Чацкий („Горе отъ ума“ Грибоѣдова)	4
- Онѣгинъ („Онѣгинъ“ Пушкина)	23
- Печоринъ („Герой нашего времени“ Лермонтова)	45
Лишніе люди и русскіе гамлеты	61
- Рудинъ („Рудинъ“ Тургенева)	74
Исаровъ („Наканунъ“ Тургенева)	86
- Базаровъ („Отцы и дѣти“ Тургенева)	97
Люди 60-хъ годовъ	118
Итогъ	136

ЧАСТЬ II.

Героини.	145
Софья Фамусова („Горе отъ ума“ Грибоѣдова)	147
Татьяна („Онѣгинъ“ Пушкина)	160
Бѣла, княжна Мери и Вѣра („Герои нашего времени“ Лермонтова).	194
Маша („Затишье“ Тургенева)	206
Лиза („Дворянское гнѣздо“ Тургенева)	224
Наташья и Елена („Рудинъ“ и „Наканунъ“ Тургенева)	232
Новыя женщины	254
Итогъ	277



ЧАСТЬ I.

ГЕРОИ.

Говорятъ, что мы живемъ чрезвычайно быстро. Не знаю, справедливо ли это убѣжденіе относительно именно нашего времени или оно принадлежитъ къ ряду тѣхъ гуртовыхъ мнѣній, годныхъ какъ трико на всякую спину, которыя каждое молодое поколѣніе принимаетъ только къ себѣ и воображаетъ, что предшущія не имѣли на него права. Но мы знаемъ, что старческіе умы всѣхъ временъ и всѣхъ націй твердили и твердятъ, что свѣтъ становится хуже, нравы развращаются, молодежь становится дерзка, безвѣрна и непочтительна; ученые думаютъ, что въ ихъ только время наука вышла на истинную дорогу, молодежь — что она только настоящая энергическая молодежь, а прежняя была дрянь и тряпка и пр. Припомнимъ, что Чацкій, жившій въ эпоху неслыханно богатую реформами, говорилъ уже:

Какъ посмотрѣть, да посравнить
Вѣкъ вывѣшній, и вѣкъ минувшій—
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

И поэтому, очень можетъ быть, что и болѣе времени Котошихина, сидѣвшіе въ совѣтѣ, по его словамъ „уткнувъ браду въ полъ“, думали о себѣ не только, что они истинно-государственные люди, — это думаютъ и не одни такіе гуси, — но что они ушли на неизмѣримую даль отъ своихъ родителей.

Однако-жъ, какъ бы то ни было, но открытія человѣческаго ума за послѣднее время и огромный переворотъ, собственно въ строѣ русской жизни, произведенный освобожденіемъ крестьянства, не могли не отразиться въ той же мѣрѣ на развитіи и складѣ русскаго общества и, конечно, мы болѣе чѣмъ многія изъ предшествовавшихъ поколѣній можемъ сказать про себя, что въ короткій промежутокъ времени пережили весьма много и во многомъ существенно разнимся отъ нашихъ недалекихъ предковъ. Поэтому, полагаемъ, не безъинтересно будетъ оглянуться назадъ и провѣрить, въ чемъ и насколько мы ушли впередъ отъ нашихъ дѣдовъ и по какой дорогѣ мы свершаемъ шествіе.

Такъ какъ мы желаемъ прослѣдить собственно видоизмѣненія характера и тѣ изгибы и наклонъ, по которымъ течетъ развитіе нашего общества, его общественная мысль, то лучшимъ и единственнымъ источникомъ въ этомъ дѣлѣ считаемъ тѣ произведенія литературы,

Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ,—

не скажемъ— „съ его безнравственной душой“, потому что особенно безнравственного нечего не видимъ,— но съ его типическими особенностями, съ его исключительно ему принадлежащими свойствами. И поэтому изъ разбора героевъ и героинь этихъ произведений будемъ дѣлать наши выводы.

Изъ этого плана читатель увидить, что намъ не будетъ никакого дѣла до тѣхъ личностей, которыя (какъ Фамусовъ, Грушницкій, или даже незабвенный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ), несмотря на всю художественную правду и жизненность свою, не отразили на себѣ „высшихъ“ стремленій своего общества. Не будетъ намъ дѣла и до общечеловѣческихъ чувствъ и страстей героевъ своего времени, до ихъ любви, ненавистей и пр., если степень и форма, въ которой онѣ проявляются, не составляютъ характеристики своего времени.

Мы будемъ разсматривать только героевъ и героинь, представляющихъ высшія точки стоянія общественнаго уровня и при этомъ, въ статьѣ о „герояхъ“, обратимъ вниманіе исключительно на ихъ гражданское состояніе, на ихъ взглядъ и отношенія къ своимъ гражданскимъ обязанностямъ, а вопросомъ объ отношеніи мужчины и женщины, точно также какъ взглядомъ общества на женскія обязанности, чувство и пр.,

займемся преимущественно въ статьѣ о „героиняхъ“.

Наконецъ, читатель съ удовольствіемъ догадается, что мы, на основаніи взятыхъ нами источниковъ, не можемъ—какъ говорится—начать съ яицъ Леды, ибо изъ слова о полку Игоревѣ или даже одѣ Державина, трагедій Сумарокова и комедій фонъ-Визина немного можно вынести чертъ для характеристики высшаго уровня мысли своего времени, кромѣ того, что тѣ и другія были въ мѣру его развитія и вкусовъ. Первое появленіе замѣчательнѣйшаго и характеристическаго литературнаго произведенія не очень отдаленно отъ насъ и поэтому мы начнемъ рядъ нашихъ этюдовъ со времени имъ очерченнаго.

I.

ЧАЦКІЙ.

Въ 1823 году написана и вскорѣ начала ходить по рукамъ и распространяться въ тысячахъ списковъ комедія „Горе отъ ума“, „сочиненіе господина Грибоѣдова“, какъ гласитъ лежащая передъ нами рукопись того времени. Необыкновенный успѣхъ произведенія и то обстоятельство, что оно до сихъ поръ, спустя столѣтія отъ своего появленія, еще во многомъ отражаетъ не только прошлое, но и современное намъ об-

щество, свидѣтельствуютъ о ея жизненной правдѣ и мѣткости. Мы не имѣемъ намѣренія входить въ литературную оцѣнку какъ этого, такъ и другихъ произведеній, которыми будемъ пользоваться. Но должны замѣтить, что „Горе отъ ума“ имѣетъ еще одну заслугу, о которой не упоминаетъ критика, — заслугу особенно важную въ вопросѣ, котораго мы касаемся: въ ней впервые, въ лицѣ Чацкаго, выведенъ представитель своего времени. Она не только рисуетъ великолѣпнѣйшую сатиру на современное общество, но и выводитъ положительный типъ представителя идей и стремленій общества, къ которому авторъ относится не только безъ насмѣшки, но и съ сочувствіемъ; кромѣ того она намекаетъ на лучшее движеніе въ обществѣ.

У насъ, съ легкой руки Бѣлинскаго, утвердилось мнѣніе, что Чацкій лицо выдуманное, не жизненное. Бѣлинскій съ эстетической точки зрѣнія былъ недоволенъ и всѣмъ произведеніемъ Грибоедова. „Художественное произведеніе (говоритъ онъ) есть само по себѣ цѣль и внѣ себя цѣли не имѣетъ, а авторъ „Горе отъ ума“ явно-имѣетъ цѣль—осмѣять современное общество въ злой сатирѣ и комедію избралъ для этого средствомъ. Оттого-то и ея дѣйствующія лица такъ явно и такъ часто проговариваются противъ себя, говоря языкомъ автора, а не своимъ собственнымъ; оттого-то и самъ Чацкій какой-то образъ безъ лица, призракъ, фантомъ, что-то небывалое и неестественное...“

„Горе отъ ума“ сатира, а не комедія—сатира же не можетъ быть художественнымъ произведеніемъ“, говоритъ далѣе Вѣлинскій. „Въ этомъ отношеніи „Горе отъ ума“, въ его цѣломъ, есть какое-то уродливое зданіе, ничтожное по своему назначенію, какъ напримѣръ сарай, но зданіе построенное изъ драгоцѣннаго паросскаго мрамора, съ золотыми украшеніями“.

Не будемъ опровергать мнѣнія, сослужившаго столь великую службу, незабвеннаго критика, особенно его мнѣнія 40 годовъ. Наши понятія съ тѣхъ поръ много измѣнились, упростились и расширились.

Намъ уже нѣтъ дѣла до того—комедія ли такое-то произведеніе или только сатира, болѣе она художественна, или менѣе художественна и можетъ ли сатира считаться художественнымъ произведеніемъ, или она принадлежитъ къ разряду вымысловъ, „ничтожныхъ по своему назначенію“. Мы все гонимъ подъ одну мѣру и видимъ во всемъ одну цѣль. Мы мѣримъ этою мѣрою не только такія близкія и однородныя вещи, какъ комедію и сатиру, но и всѣ дѣла рукъ и головъ человѣческихъ, къ какому бы роду дѣятельности они ни принадлежали. Мы дошли, наконецъ, до такого смиренія и самосознанія, что считаемъ сарай (и еще самые обыкновенные, деревянные сарай, а не изъ паросскаго мрамора) болѣе пригодными для иного экономическаго и нравственнаго положенія страны, нежели великолѣпные, раззолоченные

дворцы. Пусть люди съ великими средствами и талантами строятъ и дворцы, пусть Шекспиръ, Пушкинъ, Гоголь будутъ объективны и предоставятъ критикѣ или собственному сознанію читателя дѣлать изъ своихъ произведеній окончательные выводы; пусть другіе захотятъ сами быть выразителями своихъ идей и изберутъ цѣлью болѣе близкіе и современные вопросы: — одни другимъ не мѣшаютъ. Жизнь широка, нуждъ и недостатковъ въ ней еще бездна и всякому, кто несетъ свой камень для общаго зданія, будетъ мѣсто, и всякій дѣлаетъ благое дѣло. Вся суть въ томъ, чтобы одинъ не мѣшалъ другому и служилъ дѣйствительную службу. Всѣ тормозители и свѣтогасители тоже желаютъ приносить общую пользу и вполне убѣждены, что приносятъ ее, — слѣдовательно все дѣло въ умѣнъ и знаніи. Даже одни и тѣ же люди, проникнутые одною и тою же цѣлью, бываютъ полезны или вредны, смотря потому—берутся-ли они за дѣло по своимъ средствамъ, т. е. силъ, способности и умственному развитію, или наоборотъ. Такъ, Гоголь пока былъ, говоря языкомъ покойныхъ философовъ, объективенъ, пока не задавался задачей проповѣдника и поучителя, былъ великимъ проповѣдникомъ и поучителемъ, а какъ сталъ субъективенъ и взялся за дѣло несвойственное его таланту и умственному развитію, такъ и упалъ прямо въ грязь. Поэтому очень можетъ быть, что Грибоѣдовъ вѣрно угадалъ свои силы и способности и хотѣлъ имен-

но написать сатиру и вмѣстѣ въ лицѣ Чацкаго вывести собственный идеаль, высказать собственныя мысли. Отъ этого-то, можетъ быть, его произведеніе и осталось велико, вопреки художественной цѣлости и именно вопреки ей знается до сихъ поръ всѣми наизусть.

Мы не считаемъ Чацкаго лицомъ выдуманнымъ. Всѣ лица, устами которыхъ авторы хотятъ высказать собственныя мысли, лица ими излюбленныя, представляющія одинъ, такъ сказать, образцовый складъ мнѣній и дѣйствій—всѣ страдаютъ нѣкоторой долей выдуманности и недолговѣчности. Такова участь не только литературныхъ типовъ, но и людей „не отъ міра сего“, слишкомъ хорошихъ для нашей юдоли плача. Не умираютъ-ли (если уже не умерли) для современнаго большинства всѣ идеальныя герои Шиллера—этого ультра-идеалиста? Отъ этого-то титанъ вымысла, Шекспиръ, и не брался за подобныя лица и во всей галлерей созданныхъ имъ образовъ, является безукоризненнымъ лицомъ развѣ одинъ маркизъ Поза, да и тотъ остался для насъ не образцомъ для подражанія, а типомъ наивнаго, непригоднаго для жизни, благородства.

Не говоря о томъ, что мы видѣли на сценѣ московскаго театра и особенно въ двухъ благотворительныхъ спектакляхъ, данныхъ любителями въ Петербургѣ, лѣтъ девять назадъ, типъ весьма живаго Чацкаго,—мы, если припомнимъ эпоху, въ которую онъ сложился въ головѣ автора, найдемъ, что молодой

человѣкъ того времени, особенно такой молодой человекъ, котораго возможно было только попытаться вывести въ современной ему печати особенно со стороны автора, находящагося на службѣ, — именно такимъ и долженъ былъ выйти какъ Чацкій. Но для насъ не составляетъ важности, живенъ или нѣтъ вымыселъ Чацкаго и если мы допустимъ, что Грибоѣдовъ просто хотѣлъ высказать въ немъ свои мысли, то и въ такомъ случаѣ онъ намъ одинаково сослужить свою службу, ибо взглядъ просвѣщеннаго человека того времени, критически и независимо (насколько было возможно) отнесшагося къ строю окружающаго его общества, — имѣетъ точно такое значеніе, какъ и мнѣнія, высказанныя героемъ. Посмотримъ же, что онъ поразкажетъ намъ о своемъ времени.

Прежде нежели Чацкій прямо съ дороги появляется передъ своей возлюбленной, мы уже составляемъ себѣ о немъ нѣкоторое понятіе изъ разговора Софьи съ своей горничной.

Но будь военный, будь онъ статскій,
Кто такъ чувствителенъ и веселъ и остеръ,
Какъ Александръ Андреичъ Чацкій?

замѣчаетъ Лиза. Можетъ быть передъ выѣздомъ за границу, Чацкій, очень молоденькій и уже влюбленный, дѣйствительно могъ показаться горничной очень чувствительнымъ когда

слезами обливался—
Я помню—бѣдный онъ, какъ съ вами (Софьей) раз-
ставался.

Но по возвращеніи мы видимъ Чацкаго пылкимъ, впечатлительнымъ, взыскательнымъ, но не особенно чувствительнымъ. Умная барышня рисуеъ его въриѣ. Оправдывая свою короткость съ Чацкимъ дѣтскою дружбой, она говоритъ, что онъ, какъ мальчикъ, бывшій подъ опекою ея отца, жилъ въ ихъ домѣ. Потому

Онъ съѣхалъ, ужъ у насъ ему казалось скучно
И рѣдко посѣщалъ нашъ домъ,—

и мы охотно этому вѣримъ, зная, въ какой степени образъ жизни и мнѣнія почтеннаго Павла Аеанасьевича Фамусова могли нравиться бойкому, умному и живому мальчику. Но мальчикъ возмужалъ, дѣтская дружба переродилась въ молодое и болѣе нѣжное чувство, Чацкій опять является въ домъ

влюбленнымъ,
Взыскательнымъ и огорченнымъ,—

и вотъ, подруга его дѣтства, сформировавшаяся между тѣмъ въ типичную московскую барышню, находитъ, что Чацкій

Остеръ, уменъ, краснорѣчивъ,
Въ друзьяхъ особенно счастливъ.
Вотъ объ себѣ задумалъ онъ высоко;
Охота странствовать напала на него....

—и, съ взглядомъ на жизнь истинно московской барышни того времени, замѣчаютъ:

Ахъ! Если любить кто кого

Зачѣмъ ума искать и ѣздить далеко!

И дѣйствительно! Чтобы быть мужемъ какойнибудь Софьи Павловны и удовлетворять ея требованіямъ, не зачѣмъ далеко ходить и не только совершенно излишне искать ума, но даже нужно утратить и ту малую толику его которою, награждаетъ природа всякаго средней руки человѣка. Доказательство на лицо: стоитъ припомнить бѣднаго Платона Михайловича Горича, котораго заботливая супруга такъ бережетъ отъ простуды. Но о московскихъ барышняхъ и ихъ любви мы будемъ говорить въ статьѣ о героиняхъ, а теперь возвращаемся къ Чацкому.

И такъ Чацкій остеръ, краснорѣчивъ и (замѣтимъ) „въ друзьяхъ особенно счастливъ“ — черта весьма характеристичная, особенно когда сблизить ее съ его краснорѣчіемъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что „о себѣ задумалъ онъ высоко“. Изъ этого отзывается обрисовывается передъ нами пылкій и умный молодой человѣкъ, имѣющій кругъ своихъ поклонниковъ, но неудовлетворившійся этимъ поклоненіемъ и отправляющійся не прокатиться только по Европѣ, а увѣжающій надолго, чтобы „искать ума“, какъ говоритъ Софья Павловна т. е. учиться, ибо и Софьямъ Павловнамъ

известно, что ни на иностранных шоссе, ни на наших проселкахъ умъ не валяется и набраться его не такъ-то легко.

Касательно того, что дѣлалъ Чацкій за границей, свѣдѣній мало. Лиза слышала, что

Лѣчился, говорить, на кислыхъ онъ водахъ
Не отъ болѣзни—чай отъ скуки; *повольнѣе*.

Фамусовъ въ негодованіи говоритъ:

Вотъ рыскаютъ, по свѣту, бьютъ баклуши,
Воротятся—отъ нихъ порядка жди!..

Можетъ быть было всего по немногу; вѣроятно Чацкій страдалъ и легкими признаками всероссійской дворянской болѣзни—скуки—и баклуши билъ и жилъ за границей потому, что тамъ повольнѣе. Но онъ воротился не скучающимъ и разочарованнымъ, а пылкимъ молодымъ человѣкомъ, хоть не глубокаго, но честнаго и независимаго взгляда, человѣкомъ острымъ какъ бритва и хлесткимъ какъ бичъ, однимъ изъ тѣхъ молодыхъ людей, которыхъ Фамусовы всѣхъ временъ (отнюдь не исключая и годовъ отъ Р. Х. тысяча восемьсотъ семидесятихъ) не знаютъ какъ и обозвать: „карбонаріями“ опасными развратными людьми, проповѣдывающими вольность и непризнающими властей, которымъ слѣдовало бы строжайше запретить, „на выстрѣлъ подъѣзжать къ столицамъ“ однимъ словомъ нигилистами или пожалуй, „энгилистами“, какъ выра-

зился нѣкій совреженный намъ, дослужившійся до генераловъ полковникъ Скалозубъ.

Вѣлинскій вѣрно замѣтилъ, что Чацкій недовольно и не глубоко любилъ. „Какое это чувство, какая любовь, какая ревность: буря въ стаканѣ воды“! восклицаетъ онъ“. „И на чемъ основана его любовь къ Софьѣ?—продолжаетъ онъ: любовь есть взаимное гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ въ сферахъ общей жизни, въ сферахъ истиннаго, благого, прекраснаго...“ Извольте видѣть, что такое „настоящая любовь“! Но не говоря о томъ, что требованіе подобной любви отъ свѣтскаго молодого человѣка есть требованіе, по нашему мнѣнію, притязательное, Чацкій, напротивъ, тѣмъ намъ и дорогъ, что онъ плохо любить, что любовь не составляетъ для него всей цѣли жизни и Грибоѣдовъ именно тѣмъ и сослужилъ великую службу, что хотѣлъ нарисовать намъ и нарисовалъ наше тогдашнее общество съ его тогдашними молодыми людьми, а вовсе не одну любовную драму. Пусть великіе Шекспиры рисуютъ великія чувства: они и создадутъ Ромео, а если за эту задачу примутся другіе, то и выйдутъ Кукольниковскіе Санназары и тому подобные художники, которыхъ и имена едва останутся въ памяти даже у книжниковъ. Грибоѣдовъ рисуетъ намъ влюбленнаго свѣтскаго и образованнаго молодого человѣка того времени и рисуетъ вполне вѣрно. Любовь есть такого рода чувство, что она и

у свѣтскаго человѣка можетъ проявляться болѣе глубоко и серьезно чѣмъ у Чацкаго; но это ужъ прямо зависитъ отъ характера и темперамента. Чацкій въ этомъ случаѣ совершенно вѣренъ себѣ, т. е. тому Чацкому, котораго вывелъ Грибоѣдовъ, а не тому Чацкому, каковаго Бѣлинскому или кому другому хотѣлось бы видѣть. По темпераменту и характеру Чацкій любитъ пылко, нетерпѣливо, можетъ быть не глубоко, но для насъ важна та черта, что любовь этого героя своего времени не составляетъ для него всего, что онъ не занятъ одною ею, не специалистъ по любовной части, какихъ мы множество видимъ въ эпоху, слѣдующую за Чацкимъ. Среди радостей и неудачъ встрѣчи, ему припоминаются старня и бросаются въ глаза новыя уродливости окружающаго его общества; онъ не млѣетъ и не тоскуетъ, не ноетъ и не надоѣдаетъ намъ своимъ чувствомъ. Это чувство только проглядываетъ въ разсѣянности, съ которой слушаетъ Чацкій Фамусова, въ его замѣчаніяхъ о красотѣ, въ его заботахъ о здоровьи Софьи, которыми онъ сердитъ старика, когда тотъ, увѣренный, что у Чацкаго

готово

Собранье важное вѣстей

съ московскимъ любопытствомъ жаждетъ ихъ услышать. Нѣтъ! Чацкій, несмотря на свою любовь, не поглощенъ ею. Эта любовь не закрыла отъ него тем-

ныхъ сторонъ, недостатковъ и пороковъ современнаго общества. Онъ острить надъ отцомъ Софьи, про котораго только и можно сказать, что онъ

англійскаго кюба

Старинный вѣрный членъ до гроба;

и надъ тетушкой ея

Все дѣвушкой Манервой,
Все фрейлиной Екатерины первой,
Воспитавницъ и мосекъ цѣлый домъ...

и надъ тѣмъ, котораго онъ называетъ:

.....наше солнышко, нашъ кладъ,
На лбу написано: «театръ и маскарадъ»;
Домъ зеленю раскрашенъ въ видъ рожи,
Самъ толстъ, его артисты тощи.

Онъ подсмѣивается надъ воспитаньемъ:

Что нынѣ? также какъ издревле,
Хлопочать набирать учителей полки,
Числомъ побольше, цѣною подешевле,
Не то чтобы въ наукахъ далеки...

ибо иностранцевъ

Въ Россіи, подъ великимъ штрафомъ,
Намъ каждого признать велятъ
Историкомъ и географомъ.

Смѣется и надъ извѣстною смѣсю языковъ, изъ

которыхъ. однако, какъ замѣтила ему Лиза, мудроно

Одинъ скроить какъ вашъ.

Чацкій шутить, острить и смѣется зло и мѣтко при первой же встрѣчѣ. Но невниманье Софьи, пошлость старыхъ, знакомыхъ ему суждений, подловатость, и вся та грязь и дрянь, отъ которыхъ онъ было отвыкъ за границей — снова нахлынули на Чацкого: онъ возмущенъ, желчь его поднимается и онъ уже не смѣется, а какъ кнутомъ начинаетъ бичевать эту подлость, это чванство вмѣстѣ съ лавействомъ, которые

Кому нужда—тѣмъ спѣсь, лежи они въ пыли,
А тѣмъ, кто выше лествъ какъ кружево плели,—
Все подъ личаю усердія къ царю.

Онъ идетъ далѣе, онъ хлещетъ уже не общечеловѣческіе недостатки, какъ напр. снисходительность и даже зависть общества къ людямъ, достигающимъ повышенія и разныхъ земныхъ благъ подлостями—нѣтъ! отъ него не укрылся и тотъ

Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ,

который на этихъ преданныхъ и не разъ спасавшихъ его во время оргій и драки слугъ

„Вдругъ вымѣнялъ борзыхъ три собаки“

Не укрылся отъ него также и тотъ, который для своихъ барскихъ затѣй,

«На крѣпостной балетъ соввалъ на многихъ фурахъ:

«Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей.

И Чацкій, Чацкій свѣтскій блестящій молодой человѣкъ своего времени—является уже негодующимъ на общественные недостатки, ораторомъ, бичующимъ не только эти недостатки, но задѣвающимъ уже такіе вопросы, какъ зло крѣпостнаго права!

Умъ Чацкого болѣе острѣе и блестящѣе, нежели глубокѣе; сатира его не всегда бьетъ куда слѣдуетъ и онъ слишкомъ много придалъ значенія французикамъ изъ Бордо; на немъ самомъ какъ и на всемъ имъ изображаемомъ обществѣ если и не отъ головы до пятокъ, то лежить таки своя доля московскаго отпечатка. Въ Чацкомъ уже проглядываетъ будущій славянофилъ — за что ему досталось отъ Бѣлинскаго: онъ бранитъ наше поклоненіе всему иноземному, европейскую одежду, бритье подбородка, хотя надобно принять въ соображеніе, что онъ желаетъ

Чтобъ истребилъ Господь несчастный этотъ духъ

Пустаго, рабскаго, слѣпаго подражанья,—

и нельзя съ нимъ не согласиться, что подражанье рабское и слѣпое, безъ повѣрки и критики, дѣйствительно приносить мало пользы. Точно также можно

допустить, что Петру Великому при начатой имъ всеобщей ломкѣ, прежде всего, можетъ быть, нужно было начать съ самой наружности; но что дѣйствительно нѣтъ особенной красоты и удобства въ этой собственно одеждѣ, въ которой

Хвостъ сзади, спереди какой-то чудной выемъ
Разсадку вопреки, наперекоръ стихіямъ,

и что скобленіе подбородковъ и всего лица не приносить ни особыхъ удобствъ, ни содѣйствуетъ общественному развитію, а развѣ только служить для нѣкоторыхъ наблюдательныхъ особъ наружнымъ признакомъ благоугодливости и смиренномудрія. Даже самая, кажущаяся, многимъ неумѣстной, проповѣдь Чацкаго въ гостинной и особенно на балу („этихъ въ немъ особенностей бездна“) все также печать Москвы того времени, въ которой дѣйствительно онъ могъ сказать:

Я страненъ, а не страненъ кто-жъ?

Но для насъ не важно, глубока ли Чацкій или нѣтъ, страненъ ли онъ или естественъ; для насъ важенъ фактъ, что въ московскомъ обществѣ того времени (до 1823 года) являлись молодые, имѣющіе своихъ поклонниковъ, люди, которые негодовали на современные пороки и (что особенно замѣчательно) негодовали громко, которые возставали противъ крѣпостнаго права, которые съ отрадной увѣренностью говорили:

Нѣтъ, нынѣ свѣтъ ужь не таковъ!

Вольнѣ всякій дышетъ,—

и съ надеждой смотрѣли въ будущее. Это фактъ знаменательный! Да и одинъ ли Чацкій? Изъ „Гѣры отъ ума“, среди ея сатиры, среди всей грязи и тьмы ею изображаемой, какъ свѣтлые лучи проглядываютъ другія черты лицъ, которыя намекаютъ на иной зачинающійся уже мірокъ, на иные хотя рѣдкіе, но отрадныя всходы. Припомнимъ, что двоюродный братъ такого неколебимаго столба, какъ полковникъ Скалозубъ, человѣкъ, который благодаря ему „выгодъ тьму по службѣ получилъ“ и отличался съ нимъ „въ тридцатомъ егерскомъ, а послѣ сорокъ пятимъ“, несмотря на всю эту обстановку гдѣ-то „набрался какихъ то новыхъ правилъ“

Чинъ слѣдовалъ ему—онъ службу вдругъ оставилъ.

Въ деревнѣ книги сталъ читать!...

А этотъ молодой человѣкъ, который, какъ говоритъ княгиня Тугоуховская,

Хоть сейчасъ въ аптеку въ подмастерья,

Отъ женщинъ бѣгаетъ и даже отъ меня,

Чиновъ не хочетъ знать: онъ химикъ, онъ ботаникъ,

Князь Федоръ—мой племянникъ,

Мало того, даже такой человѣкъ какъ Репетиловъ—этотъ флюгеръ, на которомъ отражается малѣй-

шее дуновение какого бы свойства оно ни было, и тотъ уже толкуетъ о пропагандѣ, о недовольныхъ, о тайныхъ обществахъ, о броженіи даже въ стѣнахъ англійскаго клуба, гдѣ захотятъ рѣчи

о камерахъ присяжныхъ,
О Байронѣ и о матеріяхъ важныхъ.

Этотъ Репетиловъ, едва увидалъ Чацкаго, уже поклонялся ему какъ новому и сильному человѣку и сталъ обожать его, — и это обожанье, эта жадность, съ которой онъ на него набрасывается, доказываютъ намъ, что Чацкій лицо свѣжее, лицо имѣющее значеніе въ будущемъ. Потому что, надо отдать имъ эту справедливость, Репетиловы какъ клоны тотчасъ чуютъ свѣжихъ людей и немедленно пристають къ ихъ хвосту.

Наконецъ, мы знаемъ и причины этого новаго движенія:

Ученье, вотъ чума, ученость вотъ причина,
Что нынче пуще чѣмъ когда
Безумныхъ развелось людей и дѣлъ и мнѣній,

воскликаетъ Фамусовъ. А мы знаемъ, какіе люди и мнѣнія „безумны“ въ глазахъ почтеннѣйшаго Павла Афанасьевича.

И впрямь съума сойдешь отъ этихъ отъ однихъ,
Отъ пансіоновъ, школъ, лицеевъ — какъ бишь ихъ! —
Да отъ *ландкарточныхъ* взаимныхъ обученій,

подтверждает Хлестова. А княгиня Тугоуховская
нашла и самый источник зла

..... въ Петербургѣ институтъ
Пе-да-го-ги-ческій (такъ кажется зовутъ);
Тамъ упражняются въ расколахъ и безвѣры:

тотъ самый институтъ, прибавимъ мы, чтобы разъяс-
нить гнѣвъ уважаемой княгини, изъ котораго вышелъ
бѣгающій отъ нея, вышеупомянутый химикъ и бота-
никъ князь Федоръ, ей племянникъ.

И вотъ, передъ нами сквозъ улыбку насмѣшки и
бичъ сатиры, среди невѣжества, подлости, лганья и
угодливости, просвѣчиваетъ иной уголокъ, гдѣ заво-
дятся школы, гдѣ не гоняются за чинами и учатся,
гдѣ негодуютъ и надѣются, толкуютъ обо всемъ, про-
пагандируютъ свои идеи и съ увѣренностью смотрятъ
въ будущее. Если полковники Скалозубы и приносятъ
радостную вѣсть, такъ полно и печально сбывшущаяся
впослѣдствіи:

Я васъ обрадую—всеобщая молва,
Что есть проектъ на счетъ лицеевъ, школъ, гимназій:
Тамъ будутъ лишь учить по нашему разъ два
А книги сохранять—такъ для большихъ оказій,—

то эту вѣсть встрѣчаютъ съ радостью только лица,
которые находятъ одно радикальное средство

чтобъ зло пресѣчь:

Собрать бы книги всѣ да сжечь!

И когда надъ проходившимъ передъ вами сонмомъ забавныхъ, продивныхъ, искалѣченныхъ и безобразныхъ образовъ опускается занавѣсъ, вы вмѣстѣ съ грустью и смѣхомъ выносите убѣжденіе, что подъ этимъ хламомъ тлѣлъ священный огонекъ, который при благоприятныхъ обстоятельствахъ могъ бы пережечь и очистить весь старый мусоръ. Если самъ Чацкій, несмотря на свои недостатки, возбудилъ въ васъ сочувствіе къ себѣ, то вы не отчаяваетесь за него: вы знаете, что онъ не будетъ томиться отъ скуки, не поѣдетъ какъ Печоринъ умирать отъ нечего дѣлать въ Персію (глубже ужъ врядъ ли что можно придумать), вы предчувствуете, что если онъ и не найдетъ жѣстечка „гдѣ оскорбленному есть сердцу уголокъ“, то будетъ искать его не въ любви только какой нибудь новой Софьи Павловны, а въ чемъ нибудь поглубже: что онъ можетъ быть будетъ членомъ общества всемірнаго благоденствія, можетъ быть страсти увлекутъ его глубже и онъ умретъ гдѣ нибудь въ дали отъ своей родной Москвы и все не на западѣ—но все-таки вы знаете, что этотъ человѣкъ умеръ-ли онъ или живъ доселѣ, но жилъ не даромъ, много или мало сдѣлать, но не безплодно навозилъ землю, и что внуки этого горячаго человѣка и перваго пропагандиста вспомнить его съ сочувствіемъ.

II.

ОНѢГИНЪ.

Занавѣсъ падаетъ и поднимается снова. Антрактъ былъ самый незначительный. „Горе отъ ума“ рисовало общество 1823 года; первыя главы Онѣгина появились въ 1825 году. Но въ волшебныхъ балетахъ обстановка сцены, декорации и характеръ пьесы не измѣняются такъ быстро, какъ измѣнилась картина общества и лица, только что изображенныя намъ Грибоѣдовымъ. Рама, взятая Пушкинымъ, гораздо шире. Передъ нами уже не одинъ московскій высшій кружокъ, но и жизнь петербургскаго большого свѣта, и помѣщицье прозябаніе въ деревенской глуши со всѣми его мелкими подробностями, и отдѣльныя картины, схваченныя съ разныхъ сторонъ и въ разныхъ мѣстахъ Россіи,—и все это написано безъ предвзятой цѣли, безъ искусственнаго освѣщенія, написано рукой великаго мастера, все это дышетъ русской жизнью, въ каждой жилкѣ льется русская кровь, въ каждомъ словѣ слышится русскій умъ и русскій складъ. Не казисто было общество, изображенное Грибоѣдовымъ, но сравнительно даже съ нимъ какую приземистую, едва ше-

величущаяся, пустую, отупѣлую жизнь рисуетъ Пушкинъ! Куда дѣвалось это зарождающееся движеніе, закипающая молодая жизнь, загорѣвшіяся молодые надежды. Гдѣ эти училища, гимназій, лицей? Не слышно даже задорно-пустыхъ толковъ англійскаго клуба „о камерахъ, присяжныхъ, о Байронѣ и о матеріяхъ важныхъ“! Или уже сбылось радостное извѣстіе, сообщенное храбрымъ полковникомъ Скалозубомъ и въ школахъ начали учить „разъ, два“ а книги сохранять такъ, — для большихъ оказій? Или уже приведенъ въ исполненіе геніальный проектъ Павла Аванасьевича

Чтобъ зло престѣчь

Собрать бы книги всѣ да сжечь

и книги дѣйствительно подверглись если не сожженію, то хоть потопленію?

Да! Вѣроятно произошло нѣчто подобное что такъ смаяло и измѣнило едва пробивающіеся всходы общественной жизни, такъ быстро перевернуло начинающійся строй и ладъ! Какая грустная, печальная картина!... Она давно уже пережита нами, но несмотря на то, при взглядѣ на нее, больно и страшно обидно становится на сердцѣ! Какъ будто вспомнилась какая-нибудь тяжелая несправедливость, какой-нибудь порокъ или не счастье юности, которые испортили намъ пол-жизни и тяжело отзываются до сихъ поръ на нашемъ развитіи! Но всмотримся въ частности этой картины.

Передъ нами великосвѣтская жизнь съ ея красивыми декораціями и внутренней пустой. На подмостки выходитъ Онѣгинъ, молодой дворянинъ, сынъ богатаго и раззорившагося отца. Воспитанъ онъ французами, учился, *какъ есть*, „понежному, чему нибудь и какъ-нибудь“, зналъ не безъ грѣха изъ Энеиды два стиха, даже почитывалъ Сея и Вентама, такъ что между людьми ничего несмыслящими чуть не слылъ за ученаго, болталъ и писалъ отлично по-французски, ловко танцевалъ, — словомъ, имѣлъ все для наружнаго успѣха. Но авторъ, повинуваясь духу времени и своимъ, еще не провѣреннымъ, симпатіямъ, не довольствуется этимъ; онъ старается придать Онѣгину нѣкоторыя странности и особенности, онъ силится сдѣлать изъ него нѣчто не совсѣмъ обыкновенное: то онъ намъ рисуетъ его, какъ изучившаго въ совершенствѣ науку страсти нѣжвой и сокрушительнѣйшаго сердца, то глубоко разочарованнаго и ко всему убійственно равнодушнаго — напрасно! Все напрасно! Геніальный талантъ, вопреки замысламъ поэта, бралъ свое и сквозъ всѣ напускныя тѣни рисовалъ намъ живаго „современнаго человѣка“, весьма обыкновеннаго, неглупаго и способнаго молодаго человѣка съ хорошими порывами, добрымъ сердцемъ, но безъ сильнаго характера, безъ всякой самостоятельности, безъ всякаго развитія, идущаго самой торной дорогой туда, куда толкала его судьба, — молодаго человѣка достаточно добросовѣстнаго и честнаго, прибавимъ, и

достаточно богатаго, чтобы не только не дѣлать гадостей, но даже не гоняться за разной дребеденью и успѣхами того сорта, для которыхъ дялюшка Фамусова готовъ былъ жертвовать затылкомъ и играть роль шута. Таковъ Онѣгинъ. И онъ именно тѣмъ милъ и дорогъ намъ, что мы видимъ въ немъ не исключеніе, не особеннаго какого-нибудь героя, а обыкновеннаго смертнаго; онъ намъ кровный, намъ родной, мы чуемъ въ немъ плоть отъ плоти и кость отъ кости нашихъ дѣдовъ; его увлеченія, слабости, недостатки и добрыя качества, — наши родовыя недостатки и качества, и мы встрѣчаемъ его съ невольной снисходительностью и сочувствіемъ. Пусть авторъ, познакомившійся съ Онѣгинымъ, говорить, что ему пришлось въ немъ:

Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность,
И рѣзкій охлажденный умъ.

Пусть, сравнивая его съ собою, онъ говорить:

Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ,
Страстей игру мы знали оба,
Томила жизнь обоихъ насъ.
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ,
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.

Мы нисколько этому не вѣримъ; мы не станемъ спо-

рить съ поводомъ о томъ, что касается до него лично, хотя съ улыбкой встрѣчаемъ и его *тогдашнее* разочарованье; но касательно Онѣгина мы не задумываемся ни минуты. Мы знаемъ, что все это—преувеличенія, сдѣланныя ради вѣщей интересности героя. Никакихъ страстей Онѣгинъ не зналъ вначалѣ, по крайней мѣрѣ о нихъ нѣтъ ни слова; сердца жаръ нисколько въ немъ не погасъ,—доказательствомъ его любовь къ замужней Татьянѣ. Фортуна, если допустить существованіе такой особы, не только не злобствовала на него, а напротивъ была къ нему необыкновенно благосклонна, ибо онъ былъ богатъ, здоровъ, красивъ и правился женщинамъ; изъ людей мы также не видимъ, чтобы кто либо питалъ къ нему малѣйшую злобу: такъ какъ онъ былъ что называется добрый малый, то и злился имъ на него было не за что и много-много, что на него сердились его кредиторы, пока онъ съ ними не рассчитался. Точно также мы не видимъ въ Онѣгинѣ никакихъ „не подражательныхъ“ странностей, ни рѣзкаго и охлажденного ума, да „мечтамъ невольная преданность“ съ охлажденнымъ умомъ и узнаться не могутъ,—и выходитъ изъ этого, что Онѣгинъ былъ просто самый обыкновенный свѣтскій молодой человѣкъ, родившійся въ самой счастливой обстановѣ и весьма порядочно всѣмъ надѣленный природой. Но—повторяемъ—онъ поэтому и особенно дорогъ намъ, что представляетъ самый общій типъ тогдашняго молодого

человѣка и, вдобавокъ, такого, для дѣятельности котораго открыты всѣ возможныя въ то время дороги. Куда-жъ идетъ этотъ прототипъ тогдашней молодежи? Что онъ дѣлаетъ изъ своей особы и что намѣренъ сдѣлать изъ своей молодой и здоровой жизни? — X

Вырвавшись изъ рукъ гувернантки и гувернера, окончивъ легко ученье у убогаго monsieur l'abbé, Онѣгинъ дѣлается записнымъ щеголемъ и предается всѣмъ свѣтскимъ удовольствіямъ. Служилъ ли онъ, авторъ не говоритъ объ этомъ и только разъ упоминаетъ, что хотя Онѣгинъ и

былъ повѣса пылкій,
Но разлюбилъ онъ наконецъ
И брань и саблю, и свинецъ,—

что заставляетъ предположить, что Онѣгинъ былъ въ военной службѣ. Но будь военный, будь онъ статскій—какъ говорила Лиза про Чацкого—мы знаемъ, что Онѣгинъ былъ плохой и недолгій служака, что брань, и саблю, и свинецъ онъ вѣроятно только видѣлъ на ученьяхъ, а перо употреблялъ для пріятельскихъ и любовныхъ записокъ; совсѣмъ безъ службы обойтись въ то время значило бы свершить дѣйствительно такую „неподражательную странность“, о которой пѣвецъ конечно бы не умолчалъ—и такъ, всего вѣроятнѣе, что Онѣгинъ, какъ и Чацкій, служилъ, но прослужилъ безъ году недѣлю, затѣмъ, что „пользы

въ томъ не видѣлъ“ и опочилъ отъ боевыхъ трудовъ на лаврахъ свѣтскаго успѣха. Одѣвался онъ отлично, ѣздилъ по утрамъ съ визитами, обѣдалъ въ лучшемъ ресторанѣ, показывалъ себя въ театрѣ и короталъ ночь на балѣ. Къ чести Онѣгина надо сказать, что такая пустая жизнь ему скоро опротивѣла.

Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный англійскому сплину,
Короче, русская хандра
Имъ овладѣла понемногу.

Причина этого недуга уже отыскана у сытыхъ людей: онъ происходитъ отъ бездѣлья. Это конечно понялъ и самъ Онѣгинъ и сталъ искать занятія:

Онѣгинъ дома заперся,
Зѣвая за перо взялся,
Хотѣлъ писать, но трудъ упрямый
Ему былъ тошенъ.

Ну, конечно! полученное имъ воспитаніе и жизнь, которую онъ велъ, не могли приучить его къ труду;— ни нужда, ни склонность его къ нему не принуждали, да и вообще, кто зѣвая беретъ за перо, тотъ сдѣлаетъ самое лучшее изъ него употребленіе, очинивъ его въ зубочистку. Онѣгинъ почти такъ и поступилъ. Убѣдившись въ неспособности своей къ писанію, онъ, „томясь душевной пустотой“, пробовалъ поучиться и усѣлся

...съ похвальной цѣлю
Себѣ присвоить умъ чужой;
Отрядомъ книгъ уставилъ полку,
Читаль, читаль, но все безъ толку...

и кончилъ тѣмъ, что скоро,

Какъ женщинъ, книги онъ оставилъ
И полку съ пыльной ихъ семьей
Задержнулъ траурной тафтой.

Тогда то, вѣроятно, въ Онѣгинѣ и развилась „меч-
тамъ невольная преданность“, и онъ познакомясь съ
своимъ будущимъ пѣвцомъ, ходилъ съ нимъ по ночамъ
на англійскую набережную и тамъ

Съ душою полной сожалѣній
И опершися на гранитъ
Стоялъ задумчиво Евгений,

любовался ночью и въ этомъ интересномъ занятіи
былъ впоследствии изображенъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ
на картинкѣ одного альманаха, — что подало тогда
поводъ къ нѣкоему забавному четверостишію.

Неизвѣстно къ чему бы привелъ Онѣгина этотъ
родъ занятій, если бы у него не умеръ отецъ, оставившій
ему болѣе хлопотъ съ заимодавцами, чѣмъ имѣнія, а
вскорѣ и благодѣтельный дядя, который далъ средство
своему племяннику хандрить среди совершеннаго до-
вольства. Эта послѣдняя смерть, какъ мы знаемъ, за-

ставила ѣхать Онѣгина въ деревню. Тамъ онъ сначала былъ очень

радъ что прежній путь
Переѣнилъ на что нибудь.
Два дня ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубравы,
Журчанье тихаго ручья;
На третій—роща, холмъ и поле
Его не занимали болѣ,
Потомъ ужъ наводили сонъ,
Потомъ увидѣлъ ясно онъ
Что и въ деревнѣ скука та же;
Хандра ждала его на стражѣ
И бѣгала за нимъ она,
Какъ тѣнь иль вѣрная жена.

Отъ этой хандры

Одинъ среди своихъ владѣній,
Чтобъ только время проводить,
Сперва задумалъ нашъ Евгенийъ
Порядокъ новый учредить.
Въ своей глуши мудрецъ пустынный,
Ярмо онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ.

И это было, кажется, единственно хорошее дѣло, которое онъ сдѣлалъ въ свою жизнь.

Мужикъ судьбу благословилъ,

За то въ углу своею надулся
Увидя въ этомъ страшный вредъ
Его разсчитливый сосѣдъ,
Другой лукаво улыбнулся....

И хотя поэтъ говорить, что „въ голосъ всѣ рѣшили такъ: что онъ опаснѣйшій чудакъ“, но мы позволяемъ себѣ думать, что лукаво улыбнувшійся сосѣдъ не раздѣлялъ этого мнѣнія, а просто очень хорошо смеянувшись, что Онѣгинъ не чудакъ и не опасный, а просто богатый молодой человѣкъ, который отъ скуки „балуетъ“ въ хозяйство и филантропію.

Мы не будемъ долѣе слѣдить за подробностями дальнѣйшей жизни Онѣгина, такъ какъ вся она заключается въ одномъ словѣ: хандрить.

Другъ его

Владиміръ Ленскій

Съ душою прямо геттингенской,

насъ нисколько не занимаетъ, потому что разборъ геттингенскихъ душъ не входитъ въ нашу задачу; мы отмѣтимъ только тотъ замѣчательный фактъ, что и молодые тогдашніе люди, ѣздившіе учиться даже за границу и возвратившіеся въ свои Чембары или Чебоксары съ геттингенской душой, не находили для себя лучшаго занятія, какъ писать стихи въ альбомы своихъ краснощекыхъ сосѣдокъ. Убіеніе Ленскаго,

отношенія Онѣгина къ Татьянѣ, его странствованія, такъ называемый постомъ „душевный холодъ“, даже послѣдняя любовь его къ Татьянѣ, все это дѣлалось въ хандрѣ или отъ хандры, а самая хандра происходила отъ того, что человѣкъ не зналъ, что изъ себя дѣлать. И вотъ для насъ характеристическій и главнѣйшій выводъ изъ романа, черта, рисующая все то время и общество! Молодой человѣкъ, богатый, довольно развитой и честный не зналъ, что изъ себя сдѣлать, не могъ употребить съ пользою свою жизнь!

„Какъ не знать, что дѣлать изъ себя?“ восклицаетъ съ негодованіемъ и презрѣніемъ иной строгій моралистъ или такъ называемый „мыслящій человѣкъ“: А благая, благотворная, полезная дѣятельность! Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ? Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней своего удовольствія? Зачѣмъ? Зачѣмъ? — „Зачѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣчать“... Такъ сказалъ еще Вѣлинскій. Дѣйствительно, въ его время отвѣчать на подобныя вопросы было неудобно, но мы поставлены въ нѣсколько лучшія условія и можемъ до нѣкоторой степени удовлетворить спрашивающихъ.

Чтобы избѣгать общихъ мѣстъ и фразъ, мы опредѣлимъ прямо, въ чемъ могла заключаться та благотворная дѣятельность, то таинственное „дѣло“, какъ говорилось недавно у насъ, которымъ могъ посвятить себя Онѣгинъ. Начнемъ съ самаго общепотребитель-

наго, — „службы. Служба дѣйствительно есть первое занятіе, которое представляется человѣку обезпеченному и ищущему полезной дѣятельности. Если общество такъ устроилось, что огромная масса его употребляетъ значительную часть своихъ тяжкимъ трудомъ и потомъ добытыхъ грошей, чтобы питать и лелѣять нѣкоторую долю болѣе счастливыхъ соотечественниковъ, то эти соотечественники, эти махровые и пахучіе цвѣты — должны давать, по крайней мѣрѣ, отличныя зерна, благоуханіемъ освѣжать и скрашивать спертый и смрадный воздухъ, — другими словами, должны употребить себя на то, чтобы своею болѣе осмысленною дѣятельностью доставлять своимъ корнямъ и питателямъ всевозможныя средства къ ихъ лучшему развитію, къ ихъ большому благосостоянію. Въ этомъ обмѣнѣ занятій, состоитъ не только нравственная обязанность, но и собственная польза благопріятствуемаго меньшинства, ибо въ противномъ случаѣ прекратится обмѣнъ и круговращеніе соковъ, питающая и производящая масса оскудѣетъ окончательно и дойдетъ до такого положенія, что не въ состояніи будетъ питать не только цвѣты, но и самое себя. Болѣе развитыя личности понимаютъ это очень хорошо и трудятся на пользу массы сознательно, другіе не понимаютъ, но тѣмъ не менѣе часто трудятся по рутинѣ. Служба въ прямомъ и тѣсномъ значеніи слова, т. е. забота о благоустройствѣ массъ — есть первый путь, который естественно

представляется людямъ, ищущимъ по той или другой причинѣ, умственной дѣятельности. Но служба по историческому ходу вещей можетъ сложиться такимъ невыгоднымъ образомъ, что ей будутъ посвящать себя только или люди видящіе въ ней средство достичь чисто личныхъ цѣлей; какъ-то: исключительнаго положенія, денегъ, почестей, или люди стада, идущіе по болѣе протоптанной тропѣ. Тогда люди честные, но пассивные, будутъ избѣгать ее, а личности энергическія и съ высокоразвитымъ сознаниемъ, готовые жертвовать своими удобствами на общую пользу, будутъ искать другихъ дорогъ для служенія обществу. Вѣроятно во время Олѣгина служба была именно въ такой невыгодной обстановкѣ, если люди достаточно богатые и достаточно добросовѣстные, чтобы не искать въ ней чисто личныхъ выгодъ, избѣгали ее. Мы уже видѣли въ „Горѣ отъ ума“, какъ въ то время Фамусовъ выразился про Чацкого, что

Не служилъ, то есть, въ томъ онъ пользы не находить.

А самъ Чацкій объяснилъ и причину нежеланія служить словами, сдѣлавшимися съ тѣхъ поръ стереотипомъ:

Служить бы радъ—прислуживаться тошно.

Олѣгинъ на счетъ своей службы и отставки ничего не говорилъ, и самое умолчаніе его весьма ха-

ракетистично и естественно, если припомнить, что критикъ его и черезъ 20 лѣтъ нашелъ возможность выразиться на этотъ счетъ только обмѣякомъ, весьма не яснымъ для непонимающихъ. Какого же рода дѣятельность могъ, затѣвъ, избрать Онѣгинъ? Чѣмъ могъ онъ сдѣлаться? Писателемъ? Ученымъ? Попробовалъ онъ быть и тѣмъ и другимъ; но его способности, образование и склонности заставили отказаться отъ этого рода дѣятельности. Промышленность? Торговля? Но и эти пути, кромѣ того, что требуютъ капитала и подготовки, могутъ быть такъ обставлены, что человѣкъ, не жаждущій мошенничать или разориться, долженъ отказаться и отъ нихъ. Конечно, ярый меркантистъ можетъ сказать, что человѣкъ энергическій, развитой и честный не будетъ лежать на боку и отъ хандры стрѣлять въ пріятеля или томиться любовью къ свѣтской барынѣ, — словомъ, что Онѣгинъ дрянъ и тряпка, помѣщикъ, который бѣсится съ жиру. Мы не имѣемъ надобности защищать Онѣгина. Мы уже говорили, что онъ человѣкъ не энергическій, не передовой, но онъ и не дрянной, и не мелкій человѣкъ; онъ не довольствуется тѣмъ, что можетъ хорошо ѣсть, мягко спать и удобно волочиться; онъ не видитъ для себя особой прелести въ чинахъ и орденахъ, которые легко бы могъ хватать, „числѣсь по архивамъ“; онъ не удовлетворяется, всемъ мишурнымъ блескомъ и дутыми успѣхами, которыми удовлетворяются тысячи

ничтожныхъ міроудовъ и даже позднѣйшаго времени; онъ не гений, не талантъ, но и не ничтожество, онъ смѣсь того и другаго: это такъ сказать человѣкъ средней честности, именно такой *средній* человѣкъ, котораго добивается для своихъ выводовъ наука и на немъ дѣлаютъ свои вычисленія; поэтому и намъ для нашего труда онъ человѣкъ самый удобный и самый желанный.

Разумѣется энергическій человѣкъ найдетъ всегда для себя дѣло—онъ или добьется своего, или погибнетъ, а не будетъ сидѣть сложа руки. Но складъ общества, въ которомъ могутъ дѣйствовать только или личности, выходящія изъ ряда вонъ, или такіа особы, которыхъ, какъ свинью, въ какую грязь ни брось, они вездѣ устроятся и будутъ довольны, эти общества—общества болыныя, хлиныя и уродливыя. Общество здраво устроенное тѣмъ и замѣчательно, что въ немъ всякая сколько-нибудь честная и благонамѣренная личность можетъ приносить пользу, кропать свой посильный трудъ; въ этомъ обществѣ значить разнѣсны дороги для всякой дѣятельности или по крайней мѣрѣ предоставляется возможность всякой маленькой силѣ прокладывать свою дорожку, а не ставится ей въ упоръ на каждомъ шагу каменная стѣна, о которую ей приходится только тыкаться лбомъ. Въ послѣднемъ случаѣ, когда одинъ потыкается лбомъ и только добудетъ себѣ шишку, другой повторить—и достигнетъ

того же, то за тѣмъ всякій не глухой, но и не обладающій особенной настойчивостью человѣкъ, прилетѣть и отойдетъ въ сторону. Вотъ къ этимъ-то людямъ, плюнувшимъ съ одной стороны на тухлую приманку, съ другой сказавшимъ обществу, что чертъ-де съ тобой и съ твоимъ дѣломъ, если ты его загораживаешь такъ, что до него не доберешься—принадлежитъ и Онѣгинъ. Мы съ умысломъ остановились долго на немъ. Во первыхъ потому, что это именно тотъ средній человѣкъ, который намъ нуженъ и дорогъ, во вторыхъ потому, что это первый честный человѣкъ, человѣкъ независимыхъ мнѣній, появившійся въ литературѣ; и умирающій съ сложенными руками отъ нечего дѣлать, потому только, что онъ независимъ и честенъ. Известно, что общество движется не столько энергическими и выходящими изъ ряда личностями, сколько совокупнымъ трудомъ небольшихъ, но многихъ силъ. Гений, талантъ—это вожакъ: онъ указываетъ дорогу; но онъ останется одиноко съ протянутымъ указательнымъ перстомъ какъ полеводецъ на нашихъ лубочныхъ картинкахъ, если солдаты, которые рисуются обыкновенно между ногъ его лошади, выкрашенные сплошь одной зеленой краской—не пойдутъ за нимъ, если дорога, на которую онъ имъ указываетъ, не подъ силу ихъ замореннымъ ногамъ и упавшей энергіи. Онѣгинъ именно одинъ изъ этихъ мелкихъ солдатиковъ, неимѣющій не только силъ, но и генерала, который бы указывалъ ему дорогу.

валъ дорогу, да немного даже и товарищей около себя. Это карась, очутившійся, въ лужѣ въ которой онъ не въ состояніи плавать, но можетъ лежать на боку и кой-какъ жить, хотя для его плаванія не нужно море, а достаточно было бы и озерка! И посмотрите, какъ бьется, несчастный Онѣгинъ, томимый своей хандрой! Хандра — это болѣзнь людей такого сорта, какъ подагра болѣзнь богачей, отекъ ногъ — столяровъ, чахотка — портныхъ и точильщиковъ и пр. Неужели вы думаете, что Онѣгинъ не искалъ себѣ лекарства, очень хорошо понимая, что единственное радикальное средство въ этомъ случаѣ — дѣятельность? Мы видимъ дѣйствительно, что онъ хватался и за перо, и за хозяйство и, конечно, перебралъ въ умѣ или и на практикѣ всѣ остальные доступныя ему дороги. Не думайте, что хандра отъ бездѣйствія болѣзнь не мучительная. Пріѣхавъ на кавказскія воды и увидавъ себя молодого и здороваго среди сонмищъ больныхъ всякаго сорта, Онѣгинъ

мыслить, грустью отуманенъ:

Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?

Зачѣмъ не хилый я старикъ,

Какъ этотъ бѣдный откупщикъ?

Зачѣмъ, какъ тульскій застѣдатель,

Я не лежу въ параличѣ,

Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ,

Хоть ревматизма? Ахъ Создатель!

Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждать! Тоска, тоска!...

Это не жалоба какогонибудь Собакевича, пришедшаго въ меланхолическое настроеніе: „Вы посудите, Иванъ Григорьичъ, пятый десятокъ живу, ни разу не былъ боленъ, хоть бы горло заболѣло, вередъ или чирій выскочилъ...“ Это крикъ человѣка, сознающаго, что онъ молодъ, крѣпокъ и что ему нечего сдѣлать изъ своей молодости и силы, что нѣтъ у него цѣли въ жизни, нѣтъ ничего впереди къ чему бы жадно и упорно стремиться, достиженія чего ждать съ надеждой: молодая жизнь полная силъ и жажды и ничего впереди... Положеніе по истинѣ трагическое!

„Да вѣдь это трагизмъ погибающей мошени, караса въ лужѣ, какъ вы выразились“ (замѣтятъ намъ); „всякое общество имѣетъ то, что заслуживаетъ: не можешь жить—ну, ложись и умирай—потеря небольшая!“ Нѣтъ, большая потеря, замѣтимъ мы. Во-первыхъ, эти мошени эти карасы въ лужѣ—это наши отцы и дѣды наши ближайшіе предки, которыхъ свойства перешли въ нашу кровь и относятся съ высота къ ихъ страданіямъ съ нашей стороны по меньшей мѣрѣ непослѣдовательно. Мы сами не далеко ушли отъ нихъ, мы еще больны послѣдствіями болѣзни, ихъ заѣдавшей, мы еще плаваемъ почти въ тѣхъ водахъ, въ которыхъ плавали и они; во-вторыхъ, Онѣгинны были единственные мыслящіе люди своего времени

съ озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйстви пустомъ.

Пусть они были дармоѣдами, жившими чужимъ трудомъ, но другіе классы дармоѣдовъ не давали еще и такихъ людей, дошедшихъ до сознанія своей бездѣтельности, тяжело отъ этой бездѣтельности страдавшихъ и при другой обстановки способныхъ принести не малую пользу. Да! Имъ здоровымъ, честнымъ, развитымъ, но мало энергичнымъ, ничего не оставалось и дѣлать, какъ лечиться и умирать, но умирать медленно, съ умомъ бесплодно кипящимъ, умирать съ сознаніемъ своей бесплодности, безсилія и ничтожества. И знаете ли, что участь и значеніе этихъ маленькихъ безсильныхъ героевъ были-бы совершенно одинаковы съ участію и значеніемъ какого-нибудь энергическаго и мощнаго дѣателя, героя въ полный богатырскій ростъ, если-бы таковой появился въ то время? Знаете-ли, что польза, принесенная такимъ богатыремъ обществу, была бы точно такого же свойства и можетъ быть еще меньшаго размѣра, чѣмъ польза Огѣгинныхъ? Въ самомъ дѣлѣ, что могъ бы сдѣлать въ то время подобный герой? Погибнуть, неминуемо погибнуть, ибо одинъ въ полѣ не воинъ, — и какихъ бы силъ герой ни былъ, онъ не въ состояніи ничего подѣлать противъ косности массы и гнетущей ее громадной силы неразвитости. И такъ, онъ погибъ бы. Гибель его осталась бы громкимъ за-

явленіемъ нуждъ и потребностей общества, еще не сознанныхъ имъ самимъ; она была бы великимъ примѣромъ для послѣдователей и, наконецъ, утратой такой силы, которая, при свободѣ дѣйствія, могла бы принести обществу огромную пользу. Но заявленіе нуждъ общества гибелью и паденіемъ какого-нибудь мощнаго дѣятеля — заявленіе почти безплодное, ибо эта самая гибель доказываетъ массѣ ея силу, рождаетъ въ ней самоувѣренность и убѣжденіе въ своей правотѣ. Примѣръ? Но что значить примѣръ человѣка, бросающаго десятипудовыя гири, для тѣхъ, что не въ силахъ поднять орѣха? Это примѣръ скорохода для безногихъ! Остается одно дѣйствительное и могучее значеніе — значеніе безысходно погибшей силы, которая при другихъ условіяхъ могла бы принести великую пользу. Общество взростило цвѣтъ, который родится и развивается вѣками и цвѣтъ этотъ развернулся среди мороза, погибъ не давъ ни благоуханія, ни плода! У бѣдняка, годами копившаго гроши, даромъ пропадаетъ одна изъ его крупнѣйшихъ монетъ! Вотъ истинное значеніе всякаго погибающаго титана. Но не то же ли значеніе имѣютъ гибнущіе Онѣгины? Не та же ли это гибель силы, силы незначительной, какъ единица, но въ своей совокупности способной двинуть горы, которыя не подъ силу и титану? Въ природѣ ничего не пропадаетъ безслѣдно. Мрутъ, казалось бы, бесполезно ничего не сдѣлавшіе Онѣгины; но эти Онѣги-

ны—многіе или немногіе—одни въ то время были способны къ честной дѣятельности—и вотъ ихъ безплодная смерть разстроиваетъ организмъ общества; эта ненужная потеря полезныхъ соковъ обезсиливаетъ его, подрываетъ и безъ того слабый его ростъ. Извѣстно, что потеря, нечувствительная и безвредная для могучаго человѣка, отзывается долгимъ страданіемъ на слабомъ и причиняетъ смерть едва живому. Мы не имѣемъ данныхъ, чтобы судить много ли было Онѣгинныхъ и въ какой мѣрѣ безплодная жизнь ихъ отразилась невыгодно на развитіи нашего общества. Мы старались доказать только, что Онѣгинъ былъ однимъ изъ тѣхъ среднихъ людей, которые составляютъ массу добросовѣстной, хотя и слабосильной интеллигенціи, что ихъ апатія и бездѣйствіе есть своего рода безмолвная, но сильная оппозиція, которую они могли дѣлать развивающейся гнили, ихъ безслѣдная жизнь—потеря для общества. Мы особенно долго остановились на этомъ лицѣ и старались выяснитъ его значеніе потому, что Онѣгинымъ отерывается рядъ раннихъ и безплодно погибающихъ представителей своего времени. Да, онъ умираетъ рано; намъ дѣла нѣтъ умеръ-ли онъ отъ чахотки вслѣдствіе холодности Татьяны, превратившейся въ свѣтскую барыню, или эта Татьяна впоследствии сама не устояла противъ страсти и виѣсть съ Онѣгинымъ долго еще блаженствовала на счетъ рогатаго генерала, наконецъ живетъ ли раззо

чарованный Онѣгинъ до днесь въ холодномъ приличіи, кончая дни свой какъ Павелъ Кирсановъ на Бриллевской террасѣ въ Дрезденѣ — это все равно: для общества, для его развитія Онѣгинъ умеръ въ то время, когда, пытаясь себя на разныхъ путяхъ, увидѣлъ, что дѣятельность ему недоступна и махнулъ на нее рукою. Чацкій еще жилъ, дѣйствовалъ если не дѣломъ, то словами; въ его время среди сонна ничтожностей были люди, которые учились, возмущались противъ общественныхъ пороковъ, надѣялись на ихъ исправленіе. Во время Онѣгина нѣтъ ни надежды, ни борьбы, ни даже крика: все честное скопало и пригнулось, вездѣ молчаніе — молчаніе могилы среди базара пошлости! Онѣгинъ первый открываетъ собою рядъ тѣхъ безплодно погибающихъ развитыхъ людей, которыхъ мы встрѣтимъ такъ много впоследствии. Онъ,

мечтанью преданный безмѣрно,

Съ его озлобленнымъ умомъ,

Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ,

не только не видитъ возможности осуществить какія нибудь мечты, чѣмъ нибудь угомонить свой кипящій умъ, онъ даже не изливаетъ какъ Чацкій свою злобу. Полный жизни, ума и честныхъ стремленій, Онѣгинъ, первый на страницахъ нашей печати, сложивъ руки, умираетъ медленной и мучительной голодной смертью бездѣйствія, среди ничтожества, довольства и могиль-

наго молчанія своихъ современниковъ. Положеніе глубоко трагическое и вмѣстѣ глубоко знаменательное!

III.

ПЕЧОРИНЪ.

Послѣ Онѣгина, въ литературныхъ произведеніяхъ долго не появляется представителя русскаго просвѣщеннаго общества. Пушкинъ пустился писать поэмы, драму, исторію — изъ временъ минувшихъ (если не считать „графъ Нулинь“ и „Домикъ въ Коломнѣ“). Марлинскій рисовалъ по одному трафарету разныхъ Звѣздичей и Греминныхъ, а Кукольниковъ — какихъ-то необыкновенныхъ итальянскихъ художниковъ, обуреваемыхъ необыкновенными страстями. Правда, Гоголь, оставивъ сказки, вырвалъ живьемъ и бросилъ передъ изумленнымъ обществомъ кусокъ его собственнаго гнилаго мяса, поразительную картину его драблага прозябанія, — но эта картина была взята изъ жизни массы и большинства (что, впрочемъ, еще печальнѣе поразило людей здравомыслящихъ), — а о болѣе развитыхъ слояхъ не говорила. Но самый тотъ фактъ, что люди съ огромными и посредственными талантами, — большіе романы и малыя повѣсти, драма и комедія — всѣ, точно по уговору, не говорили ни слова о передовыхъ людяхъ общества, о высшемъ уровнѣ его понятій. Этотъ самый

фактъ характеристичнѣ всего обрисовываетъ то время, и мы едва-ли ошибемся, сказавъ, что гоголевскіе типы—незабвенный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, помѣщики Маниловъ и Собакевичъ, подмигивающій прокуроръ, губернаторъ и предсѣдатель, составляющіе „губернію“, и особенно служащіе и неслужащіе генералы Бетрищевы были истинными героями того темнаго времени.

Но общество, уже захваченное неотступнымъ движеніемъ западной мысли, не можетъ оставаться неподвижнымъ: мысль и самознаніе уже заронились въ немъ. Подъ давленіемъ враждебной этому движенію силы могутъ опуститься, какъ у Онегина, еще не крѣпкія руки, можно загнать мысль въ такіа трущобы, что она годами не проявится изъ нея; общество можетъ нѣкоторое время довольствоваться такими милыми и благонамѣренными дѣятелями, какъ Чичиковъ и его пріатели чиновники и генералы; но если это общество не умерло окончательно, то ранѣе или позже живая мысль въ немъ пробьется и выйдетъ наружу. Такую пробившуюся мысль, такого человѣка, который снова критически отнесся къ себѣ и окружающей его жизни, мы видимъ въ романѣ Лермонтова.

Печоринъ является намъ не простымъ представителемъ развитаго кружка—онъ является „героемъ своего времени“. Когда боги въ древности нисходили въ смертнымъ, они окружали себя облакомъ. Герои мно-

гихъ романовъ имѣютъ тоже обыкновеніе окружать себя нѣкоторою таинственностію. Печоринъ является на Кавказъ вслѣдствіе какой-то исторіи. Судя по его образу мыслей и послѣдующимъ занятіямъ, мы имѣемъ все основаніе предположить, что таинственная исторія, навлекшая на Печорина ссылку, была либо дуэль изъ-за свѣтскихъ пустяковъ, либо какой нибудь проступокъ самолюбиваго офицера противъ дисциплины и фронтовика генерала, ибо Печоринъ въ высшей степени самолюбивъ. Не обладая никакими особенными качествами, ничѣмъ не заявляя ни своихъ способностей, ни своего высокаго развитія, Печоринъ, вслѣдствіе мелкихъ успѣховъ между еще болѣе мелкими людьми, воображаетъ, что онъ человѣкъ необыкновенный. Раздразнивъ, напримѣръ, жалкаго Грушницкаго, онъ порадовался этому, а потомъ ему сдѣлалось, грустно.

„Неужели (пишетъ онъ въ своемъ дневникѣ) мое единственное назначеніе—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни придти въ отчаяніе? Я былъ необходимое лицо пятаго акта: невольно я разыгрывалъ роль палача или предателя. Какую цѣль имѣла при этомъ судьба?“

И чтобы скрыть эту выходку болѣзненнаго тщеславія, онъ, какъ не глупый человѣкъ, понимая всю ея смѣшную сторону, спѣшитъ предупредить другихъ и самъ подсмѣивается надъ собою.

„Ужъ не назначенъ ли я ею(судьбою) — писать онъ — въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримѣръ для «Библіотеки для чтенія»? Почему знать? Мало ли людей, начинающая жизнь, думаютъ окончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками“.

Не ясно ли вамъ, читатель, что господинъ, разсуждающій такимъ образомъ, самъ думаетъ, что онъ нѣчто въ родѣ Александра Македонскаго или лорда Байрона? Въ другомъ мѣстѣ, раздраживъ нѣкую барышню, Печоринъ увѣренъ, что она проведетъ ночь безъ сна и будетъ плакать, и по этому случаю восклицаетъ: „Эта мысль доставляетъ мнѣ необъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю вампира!... а еще слышу добрымъ малымъ, и добиваюсь этого названія“.

„Зачѣмъ я жилъ? спрашиваетъ далѣе себя Печоринъ. Для какой цѣли родился? А вѣрно она существовала и вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначенія; я увлекся примаками страстей пустыхъ и неблагородныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ жельзо, но утратилъ на нихъ пылъ благородныхъ стремленій — лучшій цвѣтъ жизни“.

И этотъ Печоринъ — своего рода Грушницкій, только болѣе умный, образованный и свѣтскій, — былъ

героемъ своего времени! Какъ посмѣлась бы надъ такимъ героемъ нынѣшняя бѣдная дѣвушка, едва зарабатывающая себѣ насущный хлѣбъ стенографіей или въ переплетной! Но въ то время Печоринъ былъ въ самомъ дѣлѣ героемъ своего времени. Въ немъ много для насъ смѣшнаго и жалкаго, но развѣ не много смѣшнаго и жалкаго просвѣчиваетъ уже теперь для насъ въ недавнихъ герояхъ, побѣждавшихъ почти современныхъ намъ дѣвушекъ? Герои (если не великіе дѣйствительно) всегда нѣсколько смѣшны и жалки: это ихъ участь.

Печоринъ былъ дѣйствительно героемъ, хоть и небольшимъ своего времени: такъ на него смотрѣли современныя женщины, передъ которыми онъ особенно геройствовалъ, такъ на него смотрѣли его пріатели и даже самъ авторъ.

Развитіе общества, какъ и всякое развитіе въ природѣ, подчинено однимъ и тѣмъ же законамъ: оно не дѣлаетъ скачковъ, ведетъ борьбу за существованіе и принаровливается къ мѣстнымъ условіямъ. То, что не подходитъ подъ эти условія—вымираетъ, что возможно—растетъ, чему привольно—множится. Когда лучшіе люди онѣгинскаго времени были подавлены до совершенной апатіи и перемерли отъ хандры, за ними появились, съ одной стороны, Звѣздичи и князя Грѣмины, съ другой — Чичиковы, Ветрищевы и вся ихъ стая. Критика въ большинствѣ была несовсѣмъ спра-

ведлива къ Марлинскому, упрекая его въ ничтожности его героевъ: Марлинскій былъ для своего времени чело-вѣкъ прекрасно образованный и высокоталантливый и чтобы не распространяться объ этомъ, приводимъ отзывъ о немъ Бѣлинскаго:

„Мы, уже говорили о критическихъ статьяхъ Марлинскаго и указали на нихъ, какъ на важную заслугу русской лите-ратуры, пишетъ онъ; съ такою же похвалою должны мы упо-мянуть и о собственно литературныхъ статьяхъ, каковы: „От-рывки изъ разсказовъ о Сибири“, „Шахъ Гуссейнъ“, „Письма къ доктору Эрмманну“, „Сибирскіе нравы Исыхъ“. Во всѣхъ этихъ статьяхъ видѣнъ необыкновенно умный, блестяще об-разованный чело-вѣкъ и талантливый писатель“.

Прибавимъ къ этому, что самая біографія Марлин-скаго, обстоятельства его молодости и ссылки доказы-ваютъ, что онъ хотя и заблуждался, но смотрѣлъ на жизнь и ея нравственныя обязанности не съ точки зрѣнія Греминныхъ. Отчего же этотъ блестяще обра-зованный и высокоразвитой чело-вѣкъ употребляетъ свой талантъ на изображеніе Звѣздичей, и отчего эти описанія имѣли такой огромный и неоспоримый успѣхъ? Мы можемъ себѣ объяснить это только тѣмъ, что Звѣздичи и Гремینی были дѣйствительными предста-вителями своего времени и общества. Съ одной сторо-ны они, Гремینی, Стрѣлинскіе и Правины—эта пу-стота, одѣтая въ блестящій лоскъ богатства, свѣткости и салоннаго остроумія, съ другой—Чичиковы, проку-

роры, Бетрищевы—эта плотоядность, хищничество, совершенно удобопримѣнившіяся въ своей средѣ во всей своей грязи, не скрашенные ни малѣйшей приправой, а такъ какъ Богъ ихъ уродилъ—вотъ составъ того общества. И Гремину и Чичикову существуютъ и процвѣтаютъ доселѣ; это плодущая сорная трава, отъ которой можно избавиться только сильною и тщательною обработкою почвы; но ихъ уже никто не описываетъ, они уже вылиняли, ступевались и не играютъ видной роли: ихъ затерли другіе типы. Не то было въ то время: это было ихъ царствованіе, ихъ блестящая пора; Гремину и Чичикову, Правину и подмигивающіе прокуроры, они были велингтоніи и орхидеи той эпохи: не мудрено, что на нихъ обратилось вниманіе всѣхъ писателей, и если одни не въ состояніи были ослѣпить еще неиспорченное чутье гоголевской художественности, то другимъ удалось обмануть умъ и талантъ даже такого замѣчательно-развитаго человѣка какъ Марлинскій!

Очень естественно, что изъ среды Звѣздичей и Стрѣлинскихъ, которые имѣли за собою хоть чисто внѣшнюю развитость не могъ выйти типъ простаго здраво-мыслящаго человѣка; пробудившаяся черезъ поколѣніе сознательность, этотъ атавизмъ мысли, должна была явиться въ уродливой формѣ: она такъ и явилась. Еще въ Онѣгинѣ мы видѣли задатки болѣзни, которой страдалъ Печоринъ, или лучше сказать—мы замѣти-

ли въ Пушкинѣ ложность взгляда, развившуюся въ Лермонтовѣ. Еще Пушкинъ натягивалъ на своего героя нѣкоторые таинственныя и необыкновенныя одежды, но Онѣгинъ сбросилъ ихъ, и вышелъ изъ подъ его пера простымъ смертнымъ; Печоринъ же совершенно серьезно облачился въ эти одежды и вышелъ магомъ, творящимъ чудеса надъ мечтательными женщинами и муцинами дюжинной работы. Но изъ подъ складокъ этого страннаго и смѣшнаго наряда проглядываетъ живой человекъ, изъ подъ напущеннаго на себя, для вящей занимательности, страданія пробиваются дѣйствительныя и глубоко болящія раны; и эти то невыдуманныя и мѣстами, помимо воли автора, прорывающіяся черты влекутъ къ Печорину вниманіе, и спасаютъ его отъ участи Грешина и положенія Грушницкаго.

Существенная черта, отдѣляющая Печорина отъ двухъ названныхъ героевъ—отъ блестящей пустоты и отъ смѣшнаго армейскаго ломанья—есть пробивающаяся въ немъ на волю мысль, въ видѣ критическаго отношенія къ собственнымъ дѣйствіямъ. Передъ нами дневникъ Печорина, гдѣ онъ не только рассказываетъ происшествія изъ своей жизни, но часто, и съ любовью, останавливается надъ своею особою: судить, повидимому, искренно и безпощадно свои мысли и поступки. Мы приводили нѣкоторые отрывки изъ этого дневника: мы видѣли, что въ немъ Печоринъ драпируется не только передъ другими, но и самъ передъ собою,

драпируется и въ страшное разочарованіе, и въ необыкновенную холодность, и убійственную жестокость; радится до того, что иногда хочется сказать ему, какъ Чацкій Репетилову:

Послушай: врѣ—да знай же мѣру.

Но среди добродушной лжи и искреннихъ заблужденій этого хвастливаго самораспатія проглядываютъ сужденія вѣрныя и мѣткія. Разумѣется мы смѣемся, когда Печоринъ, лишивъ дѣвушку сна, чувствуетъ наслажденіе вампира или говоритъ, что „изъ горнила страстей вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ на-вѣки пылъ благородныхъ стремленій“. Однако это самое желаніе понять себя, толковать, хоть криво, свои поступки есть уже признакъ пробуждающагося сознанія. Оттого мы вѣримъ Печорину, когда онъ говоритъ: „Я взвѣшиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія (будто бы?) Во мнѣ два человека: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслить и учить его“. Это раздвоеніе и критическій разборъ всякаго пробуждающагося внутренняго движенія на языкъ тогдашней философіи назывался рефлексією. Въ наше время, когда философія возражается въ видѣ „науки наукъ“, когда мы допускаемъ ее какъ общій выводъ изъ данныхъ, добытыхъ точнымъ знаніемъ, любопытно привести сужденія,

навѣянная философіею того времени, усоншей философіею, основанной на болѣе или менѣе мудреныхъ измышленіяхъ. Къ тому же съ рефлексіею—этою новою болѣзнію, замѣнившею хандру — намъ придется часто имѣть дѣло, и потому мы выпишемъ любопытное сужденіе о ней Бѣлинскаго.

«Тутъ (т. е. при рефлексіи), говоритъ онъ, нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйствіи: какъ только зародится въ человѣкѣ чувство, намѣреніе, дѣйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самый врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изслѣдуетъ вѣрна ли, истинна ли эта мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе, и какая ихъ цѣль и къ чему они ведутъ, — и благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненномъ хрусталѣ, рука, поднятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ... ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни возстаетъ этотъ враждебный внутренній голосъ, заставляетъ человѣка думать

...въ такое время

Когда не думаетъ никто
и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнитъ
его отвратительнымъ скелетомъ».

Въ самомъ дѣлѣ, состояніе прескверное! Это уже не апатія, когда человѣку не хочется ничего не только дѣлать, но и думать, не скука и хандра; тутъ человѣкъ занятъ безпрестанно собою и даже думаетъ въ

то время, „когда не думаетъ никто“. Это еще хуже. Извольте послѣ этого придумать мысль и заставлять человѣка исполнять, не думая, что приказано: вотъ оно что выйдетъ! Выйдетъ, что человѣкъ не только не перестаетъ думать, но дѣлаетъ изъ мысли свое единственное занятіе, думаетъ до того, что не можетъ отъ этого ничего дѣлать! Вы не вѣрите, а между тѣмъ эта штука была въ дѣйствительности, и, какъ увидимъ впослѣдствіи, при извѣстномъ состояніи общества повторяется и въ позднѣйшія времена: мало того, что она была, но послушайте въ какой она была чести, какъ отзывается о ней Бѣлинскій:

«Это состояніе сколько ужасно, столько же и необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствѣ, но чувство не есть еще послѣдняя ступень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться... Переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свойству индивидуума. Если человѣкъ чувствуетъ хоть сколько нибудь свое родство съ человѣчествомъ и хотя сколько нибудь сознаетъ себя духомъ въ духѣ—онъ не можетъ быть чуждъ рефлексіи. И нашъ вѣкъ, (прибавляетъ Бѣлинскій), есть по преимуществу вѣкъ рефлексіи... Естественно, что такое состояніе человѣчества нашло свой отзывъ и у насъ, но оно отразилось въ нашей жизни особеннымъ образомъ, вслѣдствіе неопредѣленности, въ которую поставлено наше общество насильственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности черезъ великую реформу Петра».

Мы позволимъ себѣ несогласиться съ великимъ критикомъ. и думаемъ, что самъ онъ черезъ нѣсколько лѣтъ выразился-бы иначе. Мы не считаемъ нужнымъ опредѣлять, что такое рефлексія, но всякій, видѣвшій ее хотя на одномъ больномъ, какъ на примѣръ Печоринъ, замѣтитъ, что это есть своего рода болѣзнь мысли, ея извращеніе. Мысль, повидимому, и корни пускаетъ ужасно глубоко, и на поверхности раскидывается, какъ лишай, а между тѣмъ въ ней недостаетъ существеннаго — недостаетъ простаго здраваго смысла. Это извращеніе является отъ придавленности мысли, ея неправильнаго развитія, и винить въ этомъ надо не Петра Великаго какъ это дѣлали славянофилы, который ее разсаживалъ, лелѣялъ и давалъ возможный просторъ, а тѣхъ, кто ее стѣснилъ и мѣшалъ ея росту. Мы видимъ, что Печоринъ, хотя не былъ безчувственъ и твердъ, какъ желѣзо, но имѣлъ характеръ, былъ не глупъ и надѣленъ огромнымъ самолюбіемъ, которое есть само по себѣ большая сила, а при вѣрномъ направленіи можетъ принести огромныя услуги обществу. — Вслѣдствіе этого Печоринъ не былъ апатиченъ, какъ Онѣгинъ, но онъ не зналъ, что дѣлать изъ своей силы и способностей, и тратилъ ихъ на грошвыя успѣхи, не смотря на то, что думалъ о себѣ двадцать четыре часа въ сутки. Иногда кажется, что вотъ-вотъ онъ попадетъ на настоящую дорогу.

„Страсти, говоритъ онъ, ничто иное какъ идеи

при первомъ развитіи: онъ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цѣлую жизнь любоваться“. „Идеи“, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, „созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ имъ форму и эта форма есть дѣйствіе; тотъ въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другого дѣйствуетъ; отъ этого гений, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно также какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ при сидячей жизни и скромномъ поведеніи умираетъ отъ апоплексическаго удара“. Вы видите, что Печоринъ допытывается до правды, касается ея, но что въ его сужденіяхъ, несмотря на ихъ видимую глубину, или по крайней мѣрѣ замысловатость, недостаетъ здраваго смысла. Гений въ должности столоначальника гражданской палаты если умереть, то не оттого, что у него не могли родиться идеи — тогда почему-же бы онъ былъ гений,—а именно потому, что безднѣ рождающихся идей не можетъ дать форму, осуществить ихъ; а еще вѣрнѣе, что онъ бы и не умеръ, а безъ правильнаго развитія и образованія принаровился къ средѣ, сдѣлался-бы гениальнѣйшимъ взыточникомъ, и пробрался немедленно въ высшія должности.

Такой же недостатокъ обдуманности и здраваго смысла мы видимъ и въ остальныхъ размышленіяхъ Печорина. Онъ спрашиваетъ себя: зачѣмъ жить, для

какой цѣли родился, и не могъ понять, что всѣ живутъ потому, что рождаются, и никакихъ особенныхъ назначеній никому не дается, а цѣли являются вслѣдствіе положенія и развитія личности и обуславливаются природными средствами, временемъ, средою, въ которой пришлось дѣйствовать и пр. Если бы онъ, Печоринъ, получилъ здоровое развитіе, то не говорилъ бы, что вѣрно было ему назначеніе высокое, потому что онъ чувствуетъ въ душѣ необъятныя силы, а приложилъ бы эти силы къ чему либо полезному, и увидалъ бы объятны ли онѣ или нѣтъ. А мы въ немъ кромѣ его самолюбія и не видимъ никакихъ силъ: вѣдь не сила же это торжество надъ Грушницкимъ, или побѣда надъ свѣтскими, ничего не дѣлающими женщинами, которыя только и ждутъ, чтобы ихъ кто нибудь побѣдилъ! Затѣмъ ропотъ, что онъ не угадалъ назначенія, увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ и проч. Все это фразы: мы не видимъ въ немъ ни страстей, ни твердости желѣза. Мы видимъ просто чловѣка, не получившаго никакого прочнаго, основательнаго развитія, не утратившаго нилъ благородныхъ стремленій, а просто ихъ не понимающаго!

И вотъ герой, смѣнившій Онегина! Онегинъ понималъ „благородныя стремленія“, онъ пытался ихъ осуществить, брался за перо, за книги, за улучшение быта крестьянъ. Онъ не задавалъ себѣ глубокомыслен-

ныхъ вопросовъ: зачѣмъ дана ему жизнь, и каково было его высокое назначеніе; но понималъ, что жизнь его такъ, какъ она сложилась, не нужна никому и тяготитъ его самого, что она „даръ напрасный, даръ случайный“; Онѣгинъ и радъ бы былъ дѣлать, что нибудъ, но съ своими силами и требованіями въ окружающей его обстановкѣ не находилъ возможности что либо дѣлать, и — безнадежно опускаетъ руки. Печоринъ говоритъ про свои силы, и ни къ чему не прикладываетъ ихъ, хуже того, прикладываетъ ихъ къ такимъ дѣлишкамъ, борется съ такими людишками, что высказываетъ совершенное непониманіе „благородныхъ стремленій“, и даетъ намъ все право думать, что если-бы онъ осуществилъ то, что считалъ „благороднымъ стремленіемъ“, то вышло бы что нибудъ весьма уродливое. Но мысль шевелится въ немъ и какъ голодный червь его гложетъ. Въ чертей онъ не вѣритъ, но вѣритъ въ какія-то демоническія силы; онъ чувствуетъ, что сдѣлался жертвою страстей пустыхъ и неблагодарныхъ, по просту измѣлчалъ разиѣнял на гроши, и растратилъ на тряпки свои силы и способности, но драпируется въ эти тряпки, въ свои мелкіе пороки.

И ненавижимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь горитъ въ крови и проч.

сказалъ за него его авторъ.

И вы чувствуете, что сквозь всю жолчь и злобу этой „думы“ современнаго человѣка проглядываетъ тщеславіе, похвальба коли уже нечѣмъ, то хотя недостатками. Но повторяемъ въ этомъ человѣкѣ тѣла мысль, она не давала ему покоя, и изѣдала его, и потому, когда увѣжающій, невѣсть зачѣмъ, въ Персію Печоринъ на вопросъ добродушнаго Максима Максимича, „когда онъ воротится“, махнулъ ему рукою, какъ бы говоря: „не знаю, да и не зачѣмъ“, вы говорите себѣ; еще пропавшая для общества сила! извращенная, измелъчавшаяся, но живая сила, въ которой жила и билась ненашедшая выхода несчастная, загнанная мысль!... Печоринъ, какъ и Онѣгинъ, страдалецъ неудовлетворимаго и неосмысленнаго стремленія. Вѣра, любившая Печорина, между прочимъ говоритъ ему: „никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противоположнѣ“. Да мы видимъ, что Печоринъ и Онѣгинъ дѣйствительно несчастливы, но если-бы вы предложили имъ помѣняться участіемъ съ благодушнымъ помѣщикомъ того времени, довольнымъ женою, наливками, собаками и своимъ положеніемъ на выборахъ, какъ бы презрительно усмѣхнулись они въ отвѣтъ на это предложеніе.

И въ этой усмѣшкѣ и презрѣніи къ пошлости съ которой толпа охотно мирилась-вся ихъ сила и значеніе.

IV.

ЛИШНИЕ ЛЮДИ И РУССКІЕ ГАМЛЕТЫ.

Всякому, конечно, случалось встрѣчать въ какомъ нибудь кружкѣ человѣка, кружку этому чуждаго, который въ немъ сидитъ, молчитъ и не знаетъ, что изъ себя дѣлать; многимъ можетъ быть и самимъ случалось попадать въ подобное положеніе; но чтобы въ государствѣ, которое справедливо гордится своею обширностію, считаетъ болѣе 70 милліоновъ жителей и хотя сохраняетъ очень хорошее мнѣніе о своемъ благоустройствѣ, но все же не до такой степени разцвѣло и благоденствуетъ, чтобы въ немъ по этой части желать ничего не оставалось, чтобы въ такомъ государствѣ явились люди, и люди неглупые, кой чему учившіеся, которые сами громко и ясно сознались бы, что они въ немъ совершенно лишніе—это явленіе необычайное — такое заявленіе, которому иностранецъ, пожалуй, и не повѣритъ! Лишніе люди! Въ каждомъ государствѣ бываютъ вредные люди, бываютъ праздные люди; бываютъ старики, неспособные ни къ какому дѣлу, которыхъ въ иное время безъ церемоніи придушали,—это родители лишніе для дѣтей; въ Китаѣ и теперь нарождаются дѣти, которыхъ ро-

дители не находят возможнымъ кормить и топить въ каналахъ; въ благоустроенныхъ государствахъ иногда рождаются дѣти при такихъ условіяхъ, что матери ихъ, эти, по мнѣнію многихъ философовъ, затѣмъ только и созданныя изъ ребра Адамова творенія, чтобы родить дѣтей, подавляютъ и материнское чувство и страхъ наказанія и бросаютъ дѣтей въ помойную яму—это дѣти, лишнія для родителей. Но чтобы здоровые, взрослые, сытые люди сами себя находили лишними, для этого нужно поставить этихъ людей въ совершенно особенное благораствореніе воздушныхъ и окружить ихъ до пресыщенія какимъ нибудь особеннымъ обиліемъ плодовъ—ну хоть попечительства.

А между тѣмъ, въ лѣта отъ Рождества Христова 1840—50-е подобный психологическій фактъ совершился въ нашемъ благоустроенномъ государствѣ! Нашлись въ немъ люди просвѣщенные, здоровые и сытые, которые признавались, что они въ немъ совершенно лишніе. Въ тюрьмѣ живутъ люди ожиданіемъ дня освобожденія; иногда, когда это освобожденіе слишкомъ отдаленно или неожиданно, они думаютъ о побѣгѣ и предпринимаютъ его; какъ же должна быть крѣпка нравственная тюрьма, каковъ упадокъ силъ, отсутствіе воли, какова безнадежность людей, въ ней заключенныхъ, когда эти люди и не мечтаютъ ни о правосудіи, ни о милосердіи, ни о концѣ наказанія, ни о подкупѣ и бѣгствѣ, а сидятъ, опушта руки, и тол-

жуютъ о томъ, что имъ жить не зачѣмъ! Что это за несчастные, тюремные люди?

Люди эти не принадлежать однако къ тюремному населенію, и не желаютъ вовсе попасть въ него. Они не принадлежать и къ тѣмъ практическимъ натурамъ, которыя обживаютъ во всякой тюрьмѣ и сибирѣ и, равнодушно переходя изъ одной въ другую, только замигиваютъ, какъ бѣглый плюшкинскій дворовый: „Нѣтъ, вотъ всеягогская тюрьма будетъ почище: тамъ хоть и въ бабки, такъ есть мѣсто, и общество больше“.

Эти люди также не заблуждаются и на счетъ своего положенія, а напротивъ, до точности изучили его, но они до такой степени засидѣлись и присидѣлись въ своей тюрьмѣ, до такой степени запуганы и обезсилены, что только и думаютъ о томъ, чтобы ихъ не пришибли еще болѣе. „Не трогайте насъ, говорятъ они, мы смирились“. А прожде смиренія—вы думаете—они роптали? возмущались? Нѣтъ: они позволяли себѣ дерзость громко судить о такихъ туманныхъ отвлеченностяхъ и метафизическихъ тонкостяхъ, которыхъ не понимали ясно, не только они сами, но и ихъ учителя, а приложить къ практической жизни хоть какой-либо стороною было совершенно невозможно. И отъ этихъ то продерзостей они выпущены были отказаться и смириться! Вѣдь могутъ же разумные люди дойти и быть доведены обстановкой до такой низменности и трусости безсилія!

„Однакожъ, были же и въ это время люди, силащіяся, если не бороться, то хоть держаться кой-какъ выше тины, чтобы въ ней не захлебнуться?...“ замѣтаетъ намъ. Конечно, такіе люди существовали, но ихъ положеніе было до того неказисто, заурадно, что литература, которую больше занимаютъ крайности, въ какую бы сторону онѣ ни выдавались, объ этихъ людяхъ едва упоминаетъ. Былъ, напримѣръ, замѣчательный человѣкъ Андрей Колосовъ, но вся его замѣчательность ограничивалась тѣмъ, что среди обезсиленной и изогавшейся толпы онъ былъ искрененъ и прямъ; впрочемъ, выразилась эта прямота не въ борьбѣ съ жизнью и окружающими порядками, а въ томъ, что, разлюбивъ одну дѣвушку, онъ бросилъ ее, не прибѣгая ни къ какимъ уловкамъ: „Не люблю, говоритъ, ее больше и баста! что же противъ этого подѣлаешь!“ Каково же было поле дѣятельности честныхъ людей, если и подобная микроскопическая прямота считалась замѣчательной? Появлялись еще нѣсколько честныхъ людей въ видѣ скромныхъ, добросовѣстныхъ чиновниковъ и заслуживали даже сочувствіе читателей; но когда одинъ изъ нихъ вздумалъ гордиться своею дѣятельностью и о своей чиновничьей честности крикнуть съ театралныхъ подмостковъ на всю Русь, то, наде отдать справедливость критикѣ, благонамѣренный чиновникъ провалился немедленно и самымъ торжественнымъ образомъ.

А между тѣмъ мысль все-таки жила. Жила она въ тѣхъ немногихъ борцахъ, которые на счетъ своихъ силъ, счастья и даже жизни кой-какъ укрывали ее свѣточъ; она держалась и въ развитомъ меньшинствѣ, именно въ этихъ лишенныхъ людяхъ, въ этихъ увѣданныхъ Гамлетахъ, съ которыхъ перо, зорко слѣдившее за всякимъ движеніемъ мысли въ обществѣ, списало намъ небольшія, но полныя правды картины.

Въ герояхъ Кукольника мы видѣли мысль, кинувшуюся въ страстность и вычурность; въ Печоринѣ она болѣе сильна и искренна, но ударилась въ какой-то демонизмъ и самообманъ; загнанная еще сильнѣе, она стала зарываться въ самую глубь человѣка, отказываясь болѣе и болѣе управлять его дѣйствіями и представляла намъ необыкновенныя явленія — людей, признавшихъ себя лишними. Посмотримъ же на нихъ поближе.

Лишніе люди начинали, какъ и всѣ, то есть, какъ немногіе порядочные люди. Золотая сила молодости, какъ она ни было угнетена, двигала и подгоняла этихъ людей; они хотѣли учиться. Но тутъ встрѣчала ихъ первая стѣна, преграждавшая дорогу къ дѣятельности: вмѣсто здоровой нищи полезныхъ знаній, давались обглоданныя кости классическихъ наукъ. Русскіе университеты были тогда плохи, люди со средствами спѣшили за границу, — а за границей, какъ вѣнецъ всѣхъ

знаній, ихъ ожидала отвлеченная премудрость нѣмецкой философіи. Извѣстно, что философія того времени, какъ судья Тяпкинъ-Ляпкинъ въ „Ревизорѣ“ — думала дойти до всего на свѣтъ своимъ умомъ, не опираясь на положительныя науки. Меда на эту философію и вѣра въ нее были таковы тогда, что даже отставные поручики, удрученные жаждой знанія, весьма тугіе на пониманіе и недаренные даромъ слова, являлись, какъ говорить Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, въ нѣмецкіе университеты и тѣлились понять непонятныя фразы. Къ чести русскихъ умовъ надо сказать, что они никакъ не могли уразумѣть тѣхъ отвлеченностей, усвоить доходящую до виртуозности игру темными словами, туманомъ которыхъ прикрывалась тогда бѣдность умозрительнаго знанія, такъ плачевно обанкротившагося на нашихъ глазахъ, при столкновеніи съ положительными науками. Возвратясь домой, однакоже, иные мудрецы преобладали стать пророками. Въ наше время трудно повѣрить, какъ процвѣтало тогда искусство словеснаго фехтованія, именующее діалектикою. Были мастера, не обладающіе знаніемъ, бѣдные идеями, но съ которыми нельзя было совладать въ спорѣ: они васъ забрасывали темными словами, сбивали, вызывали на опредѣленія и, пользуясь малѣйшею неточностью, поднимали васъ подъ ножку. — „Возьмите какую-нибудь вещь, ну хоть столъ“, говорить какой-нибудь простодушный человѣкъ. „Позвольте! Что вы называете столомъ?“

прерывалъ его ловкій діалектикъ? Простодушный чело-
вѣкъ останавливался: „Какъ что? ну да извѣстно
стола!—ну вотъ хоть этотъ столъ!“ и онъ ударялъ по
столу. — „Нѣтъ, вы потрудитесь опредѣлить, что вы
называете столомъ!“ настаивалъ діалектикъ. И если
простодушный человѣкъ говорилъ, напримѣръ, что
столъ—это доска на четырехъ подпорахъ, то діалек-
тикъ немедленно доказывалъ ему, что тотъ не имѣетъ
понятія о чемъ говорить, что столы бываютъ и о
многихъ подпорахъ, что по его опредѣленію столъ не
отличенъ отъ баннаго поля и т. д. и т. д. И по-
добнымъ образомъ цѣлые часы длились въ словозвер-
женіяхъ и побѣдитель считался замѣчательною головою...

Таковыми мастерами часто являлись изъ-за границы
люди, привыкшіе ловко играть словами, не замѣчая
ихъ пустоты. Но такъ какъ нельзя было весь вѣкъ
играть словами, а приходилось что нибудь дѣлать,—
то тутъ, на первомъ шагѣ, мастера немедленно и срѣ-
зывались. Тутъ-то и выказывалась ихъ полная несо-
стоятельность: они не годились вообще для жизни,
а еще менѣе для жизни въ такой средѣ, гдѣ
умственная дѣятельность была почти невозможна, а
матеріальная—такого рода, что нравственно чистоплот-
ный челоѣкъ затруднялся и коснуться ея. Вотъ на-
примѣръ, что рассказываетъ про себя мелкопомѣстный
дворянинъ, оставшійся извѣстнымъ подъ именемъ Гам-
лета Шигровскаго уѣздѣ.

Учившись въ московскомъ университетѣ, онъ и его товарищи собирались каждый вечеръ въ кружокъ, гдѣ курили, пили чай, и толковали о нѣмецкой философіи, любви и солнцѣ вѣчнаго духа; для усовершенствованія по этой части на послѣдніа деньги нашъ Гамлетъ отправился къ самому роднику знанія, въ Германію, и тамъ не видалъ ни жизни, ни людей, а слушалъ туманныя измышленія нѣмецкихъ профессоровъ, да читалъ на мѣстѣ рожденія нѣмецкіа книги. Вернувшись изъ-за границы, гдѣ все молчалъ да мечталъ, Гамлетикъ вдругъ развернулся, заговорилъ и сдѣлался бракуломъ московскихъ гостинныхъ. Но явилась кавалято несложная сплетня, пущенная завистникомъ, и слабый человѣкъ не устоялъ даже и противъ такой паутинны—онъ запутался, сбился и спасовалъ, къ тому же его одолѣла добросовѣстность: ему совѣстно стало болтать, болтать безъ умолку то на Арбатѣ, то на Сивцовомъ вражѣ, то на Трубѣ—и онъ отправляется въ деревню, гдѣ и скучаетъ, но его выраженію, какъ щенокъ въ заперти. Отъ скуки онъ женится на чахоточной барышнѣ и не по любви, не по расчету, а потому, что они вмѣстѣ сидѣли на крылечѣ, да смотрѣли на луну. Дѣвушка попалась ему подъ пару; на ней стоитъ остановиться на минуту, чтобы имѣть понятіе о тогдашнихъ дѣвахъ, которыми мы не будемъ заниматься въ статьяхъ о „Героиняхъ“.

„Это было существо благороднѣйшее, добрѣйшее,

существо любящее и способное на всякія жертвы, хотя я долженъ между нами сознаться, говорить упрямый Гамлетъ, что если-бы я не имѣлъ несчастія ея диниться, я бы вѣроятно не былъ въ состояніи разговаривать сегодня съ вами, ибо еще до сихъ поръ цѣла балка въ грунтовомъ моемъ сараѣ, на которой я неоднократно собирался повѣситься“. „Въ серицѣ ея, продолжалъ онъ, сочилась какая-то рана, которую ничѣмъ нельзя было излѣчить“, да и назвать не онъ, ни она не умѣли,—и онъ сравниваетъ жену съ чижомъ, которой хирѣлъ отъ того, что въ молодости былъ помятъ кошкою. Василий Васильевичъ не знаетъ и не открылъ этой кошки, а кошка называется идеализація. „Въ жену мою до того вѣѣлись всѣ привычки старой дѣвицы,—говоритъ онъ,—Бетховень, ночныя прогулки, резеда, переписка съ друзьями, альбомы и проч., что ко всякому другому образу жизни, особенно къ жизни хозяйки дома, она никакъ привыкнуть не могла, а между тѣмъ смѣшно же замужней женщиной томиться безыменной тоской, и пѣть по вечерамъ: „на зарѣ ты ея не буди“.

Дѣйствительно, можно повѣрить, что отъ такой ноющей жены начнешь засматриваться на балки сарая. Но бѣдный Гамлетъ не понималъ, что самъ онъ тоже былъ подъ пару своей половинѣ, что онъ былъ такой же идеалистъ—только другаго сорта. По смерти жены онъ вздумалъ было приняться за дѣло: вступить въ

службу, но разумеется скоро вышелъ въ отставку, рванулся было опять въ Москву, но его связало безденежье, и самъ онъ тоже, какъ забитый чижъ, начинаеть терять свои послѣдніи перья. Соезли его, смачала запуганные его ученостью, заграничною поѣздкою и проч., не только успѣли къ нему привыкнуть, но, замѣти, что отъ всѣхъ его знаній, „какъ отъ козла, ни шерсти, ни молока“, — стали съ нимъ обращаться съ пренебреженіемъ. Василій Васильевичъ, какъ человѣкъ неглупый, все это замѣтилъ; въ его душу начали нерадиваться сомнѣнія въ себѣ, но онъ еще крѣпился до тѣхъ поръ, пока одинъ случай не открылъ ему глаза. Василій Васильевичъ разговорился съ исправникомъ объ одномъ пустомъ крикунѣ и вдобавокъ взыточникѣ, который дебилался знанія предводителя — и выразился о немъ рѣзко.

— „Экъ, Василій Васильевичъ, не намъ бы съ вами о такихъ людяхъ разсуждать! замѣтилъ практический исправникъ, гдѣ намъ? знай сверчокъ свой шестокъ!“

— Да помиуйте! возразилъ Тамлеть, какая же разница между мною и г. Орбасановичемъ?

Исправникъ вынулъ трубку изъ рта, витаращилъ глаза, да такъ и приснулъ отъ снѣха.

— Ну потѣшникъ! проговорилъ онъ наконецъ сквозь слезы, вѣдь экую штуку выкинулъ!..

И до самаго отъѣзда исправникъ не переставалъ

глумиться надъ бѣднѣиъ Василенъ Васильевичемъ, изрѣдка подталкивая его подъ локоть и говоря ему *ты*“. Эта капля переполнила чашу: по отъѣздѣ исправника уѣздный Гамлетъ прошелся по комнатѣ, остановился передъ зеркаломъ, долго, долго смотрѣлъ на свое сморщенное лицо и медлительно высунувъ языкъ, съ горькою усмѣшкой покачалъ головою: завѣса съ его глазъ спала, онъ увидалъ ясно, какъ свое лицо, какой онъ былъ пустой и ничтожный, неоригинальный и ненужный человекъ.

И Василій Васильевичъ былъ правъ. Онъ былъ дѣйствительно нечѣмъ полезенъ для общества, чѣмъ всякій Орбасановъ или исправникъ, которые жили скверно, да все-таки жили и хоть отрицательную пользу, не приносили.

Справедливо также онъ упрекаетъ себя въ томъ, что онъ не оригиналенъ. Да, въ немъ дѣйствительно нѣтъ и тѣни оригинальности, во всемъ онъ дѣйствуетъ, какъ по книжкѣ: поступаютъ люди въ университетъ, — идетъ и онъ въ университетъ, безъ заранѣе обдуманной цѣли въ чему готовить себя; ѣдутъ люди въ Германію учиться философіи, — и онъ ѣдетъ, не зная на что ему философія; влюбляется въ дочь нѣмецкаго профессора, къ которой не чувствуетъ любви, ходитъ смотрѣть картины и статуи въ галлерейхъ, нисколько ими не интересуясь. „А между тѣмъ, какъ легко быть оригинальнымъ, говоритъ онъ; а, напримѣръ, ничего

не смыслу въ живописи и ваяніи... сказать бы это вслухъ... нѣтъ, какъ можно!...”

Не правда-ли, что эта черта въ Васильѣ Васильевичѣ — недостатокъ оригинальности, въ высшей степени типична и не напоминаетъ-ли она намъ въ этомъ случаѣ тысячи соотечественниковъ, которые за границей боятся на шагъ отступить отъ гида, въ гостиницѣ спросить яйцо покруче сваренное, дома повязать галстукъ какъ вздумается — все изъ боязни сдѣлать не такъ какъ другіе, изъ боязни прослыть оригиналомъ. Василій Васильевичъ, при всемъ безсѣіи, въ тысячу кратъ умнѣ этихъ неоригинальныхъ людей тѣмъ, что по крайней мѣрѣ видитъ свой недостатокъ, тогда какъ другіе считаютъ его за добродѣтель! Вирочемъ, оригинальность — это своеобразность, самостоятельность, вѣра въ себя и въ свой умъ; — и откуда же у русскаго человѣка, ходящаго весь вѣкъ на помочахъ, явиться ей? Отчего англичанинъ и американецъ оригинальны? Оттого, что надъ ними нѣтъ отъ колыбели и вплоть до могилы разныхъ и непрестанныхъ опекъ: опеки няньки, гувернера, инспектора, начальника, буточника, — словомъ, цѣлой арміи опекуновъ только и наблюдающихъ, чтобы онъ не поступилъ по собственной волѣ. И вотъ являются обезсиленные, обезличенные Василіи Васильевичи. А между тѣмъ это были честные, образованные люди тогдашняго времени и ихъ было не мало между среднимъ дворянствомъ, которое

доставляло обыкновенно разныхъ двигателей и дѣтелей: въ каждомъ уѣздѣ водились такіе Гамлеты. Ихъ отличала одна черта отъ множества другихъ байбаковъ, менѣе (на свое счастье) развитыхъ; сознавъ свою совершенную непригодность къ жизни, эти люди, привыкшіе къ дѣятельности празднои мысли, не переставали ясно видѣть свое положеніе, свое умственное и нравственное превосходство и въ то же время ничтожество, и въ этомъ состоитъ глубокой трагизмъ ихъ положенія. Мысль ихъ, изъ-подъ власти которой вырвалась воля и всякая практическая дѣятельность, загнанная, какъ худосотіе внутрь, не проступала ничѣмъ наружу, вѣдалась внутрь челоуѣка. И сидѣлъ этотъ челоуѣкъ, болѣзненно разбирая самъ себя, каждый свой помыселъ, свое безсиліе, причины его, — и дѣлалось это не съ тѣмъ, чтобы придумать средство выйти изъ своего несчастнаго положенія, нѣтъ! Само это разсматриваніе собственной негодности обратилось въ дѣло, было занятіемъ, болѣзненнымъ самоуслажденіемъ! Такъ ницѣ и вагѣки, собравшись между собою, хвалятся, говорить, другъ передъ другомъ своими завами и уродствами. Не тѣ, по крайней мѣрѣ, выпрашиваютъ ими милостыню, а наши Гамлетики что отъ нихъ выигрывали?

Поддадимъ же милостыню сожалѣнія этимъ, какъ они называли себя лининимъ, заѣденнымъ рефлексією людямъ, или по просту, болѣзненнымъ вырождаемъ угнетенія, этимъ забитымъ грубою силою безсильнымъ не снательцамъ!

V.

РУДИНЪ.

Въ „Лишнихъ людяхъ“, открытіемъ которыхъ мы обязаны неслучайно Тургеневу, сказалась вся глубина, до которой бѣдная, загнанная мысль можетъ спуститься: дальше идти было ей некуда — надобно было или погнѣбнуть, или идти вверхъ. Но счастію, въ организмахъ, которые еще пригодны въ жизни, самое зло вызываетъ реакцію, болѣзнь носитъ въ себѣ сѣмена лѣчарства. Такъ было и съ мыслью, ушедшею по уши въ рефлексію и проявлявшуюся только въ словоизмѣненіи. Отсюда ясно, какинъ долженъ былъ явиться дѣятель, выросшій на такой почвѣ. Онъ долженъ былъ явиться героемъ общей мысли и сильнаго слова: таинъ и былъ Рудинъ.

Странный человѣкъ былъ этотъ Рудинъ, и сложная была у него натура. — Рудинъ былъ не случайность: онъ прямой потокомъ своихъ предковъ, поэтому мы, прослѣдивъ за развитіемъ мысли въ русскомъ обществѣ, можемъ, какъ въ геологіи, пласть за пластою разобрать всѣ наслоенія, которыя разные предшдущія и современныя вліянія оставляли на Рудинѣ; насъ удивляетъ даже строго-логичная совмѣстимость

этихъ вліяній въ Рудинѣ и мы можемъ объяснить ее только той художественною правдою, съ которою и Рудинъ, и предыдущіе типы были живьемъ взяты изъ общества и изображеніи ихъ авторами.

Рудинъ былъ человѣкъ, далеко выходящій изъ дѣйствія: умъ его имѣлъ систематическій, память огромную и необыкновенный даръ слова; читалъ онъ болѣею частію книги философскія, и умъ его не былъ самостоятеленъ, но голова такъ устроена, что онъ тотчасъ же изъ всего читаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ отъ него проводилъ во всѣ стороны правильныя нити мысли, отрывая духовныя перспективы, освѣщая все однимъ свѣтомъ. „Молодежи — говоритъ авторъ — вводи податли, итоги, хоть невѣрные. Совершенно добросовѣстный человѣкъ на это не годится. Попробуйте сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владѣете ею... Молодежь васъ и слушать не станетъ. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надоно, чтобы вы сами, хоть на половину вѣрили, что обладаете истиной“. По нашему мнѣнію, подобныя особенности нужны для всякаго проповѣдника — обращается ли онъ къ молодежи, или къ массѣ зрѣлыхъ слушателей, — что-бы двигать и имѣть успѣхъ. Рудинъ обладалъ ими, этими качествами или недостатками, въ тому же онъ былъ энтузіастъ и потому производилъ впечатлѣніе огромное. „Этотъ человѣкъ не

только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!" говорилъ про него Басистовъ. Таковъ былъ Рудинъ, какъ дѣятель. Пусть онъ какъ частный человѣкъ имѣлъ недостатки: онъ во все вмѣшивался и любилъ посплетничать, занималъ деньги и не думалъ отдавать ихъ, не какъ проныра, а какъ человѣкъ фантазіи, а не дѣйствительности; пусть онъ съ своимъ все систематизирующимъ умомъ былъ въ высшей степени непрактиченъ—все это такъ; но, какъ пропагандистъ, какъ общественный дѣятель, Рудинъ былъ человѣкъ, цѣлой головой выходящій изъ ряда: и съ той перы, которую мы рассматриваемъ въ настоящей статьѣ, онъ первый между героями является намъ не какъ страдательное лицо, не какъ забитый и изломанный человѣкъ, а какъ истинный и положительный двигатель, погибающій—какъ водится—впослѣдствіи.

Да! Рудинъ первый—между героями литературы—общественный дѣятель. У насъ, напротивъ, установилось мнѣніе, что Рудинъ принадлежитъ всецѣло къ надломленнымъ и искалѣченнымъ натурамъ, которые способны все только говорить, охать и страдать, и если были намъ симпатичны, то какъ жертвы своего времени и своей среды, а отнюдь не какъ дѣйствующія лица. По нашему мнѣнію, такой взглядъ рѣшительно не выдерживаетъ критики. Установился онъ потому,

что въ самой повѣсти о Рудинѣ мы видимъ только слабую, дѣйствительно надломленную сторону героя: онъ бѣжитъ отъ дѣвушки, которая ему отдается, не даетъ отпора пустому, но смѣлому сопернику (сопернику въ любви), занимаетъ и не платитъ деньги, и не смотря на всю силу своего слова и способностей не даетъ никакого ощутительнаго послѣдствія всей своей силы и дара. Но въ повѣсти есть другая сторона, которая видна между строками: вся дѣйствительная сила Рудина, всѣ его попытки что нибудь сдѣлать, сдвинуть—все это рассказывается другими, занимаетъ чрезвычайно мало мѣста, и не производитъ на читателя сильнаго впечатлѣнія, потому что умышленно прикрито. О повѣсти „Рудинъ“ можно сдѣлать тоже замѣчаніе, которое Добролюбовъ дѣлаетъ по поводу Инсарова. Авторъ не имѣетъ цѣлью дѣлать своего героя образцомъ, примѣромъ гражданскаго героизма, онъ не сводитъ его лицомъ къ лицу съ дѣломъ. „Изъ всей Илиады и Одиссеи онъ присвоиваетъ себѣ только рассказъ о пребываніи Улиса на островѣ Калипсы—говорить критикъ. Величіе и красота идей Инсарова не выставляется предъ нами съ такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и въ гордомъ одушевленіи воскликнули: идемъ за тобою! А между тѣмъ идея эта такъ свята и возвышена!... Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проведенныя въ художественныхъ образахъ, производили лихорадочное

дѣйствіе на общество; Карлы-Мары, Вертеры, Печорины вызывали тѣмъ обожателей "... Но нельзя винить автора въ томъ, чего онъ, по положенію, въ которомъ находилась наша печать, не могъ — если-бы и хотѣлъ — сдѣлать. Въ одномъ мѣстѣ у Лежнева прорывается о Рудинѣ выраженіе, что у него „политическая натура“. Въ этихъ двухъ словахъ, сказанныхъ вскользь, и едва замѣтныхъ въ повѣсти, вся разгадка значенія и положенія Рудина. Рудинъ, какъ и Инсаровъ, былъ по натурѣ дѣятель политическій; въ Россіи, какъ всякому извѣстно, политическая дѣятельность открывается правительствомъ для извѣстныхъ лицъ по его выбору; никакое специальное образованіе, никакое личное желаніе или склонность не откроютъ *напрямое* этого поприща: правительство избираетъ для этого дѣятелей изъ людей, служащихъ ему, которыхъ находитъ въ томъ способными и достойными. Наизамѣнно въ этомъ случаѣ одно правило: оно черпаетъ людей изъ лицъ, посвятившихъ себя исключительно службѣ; слѣдовательно лицо, которое не могло на службѣ выкачать своего усердія и способностей, не можетъ по своей личной охотѣ или призванію сдѣлаться дѣтелемъ политическимъ. Понятно послѣ этого, что для дѣятельности Рудиныхъ и Инсаровыхъ не было мѣста въ Россіи, и независимо отъ того что авторъ, по самымъ условіямъ печати, могъ описывать изъ всей Одиссеи — по выраженію Добролюбова — только похождения на островѣ

Калины, т. е. самые незначительныя изъ поколѣній, ему и нельзя было описывать того, что было невозможно въ самой жизни. Поэтому, совершенно несправедливо установившееся воззрѣніе, что Рудины и всѣ люди сороковыхъ годовъ были способны только къ разговору, а не къ дѣлу. Мы видѣли, напротивъ, что тамъ, гдѣ для этихъ людей была открыта возможность общественной дѣятельности, они немедленно воспользовались ею и явились способѣйшими труженниками. Такъ крестьянское дѣло выработано и вынесено ими на своихъ плечахъ,—и если потомъ обстоятельства вновь такъ сложились, что ихъ участіе въ общественныхъ дѣлахъ опять найдено излишнимъ, то ихъ бездѣйствіе уже не можетъ быть имъ поставлено въ вину. Подобное мнѣніе о людяхъ сороковыхъ годовъ могло сформироваться въ ту эпоху, когда всѣ ожидали появленія „новыхъ людей“, „людей дѣла“, людей, которые сдѣлали бы изобрѣсти себѣ общественную дѣятельность, несмотря на неблагоприятныя обстоятельства. Но теперь, когда съ той эпохи прошло 10 — 12 лѣтъ, когда самое молодое поколѣніе того времени успѣло уже сдѣлаться зрѣлымъ и уступить свое мѣсто болѣе молодымъ, — а общественныхъ дѣателей и дѣятельности — видъ службы — все-таки не явилось, пора трезво взглянуть на дѣло, и не винить людей съ связанными ногами, зачѣмъ они не бѣгаютъ; иначе нынѣшнее молодое поколѣніе можетъ и еще съ большимъ правомъ

обратиться къ людямъ 60-хъ годовъ съ тѣми упреками, съ которыми тѣ обращались къ людямъ сороковыхъ годовъ. Отъ послѣднихъ еще менѣе можно было требовать: они сознавали свое положеніе и ничего не общали; но когда человекъ упрекаетъ другаго въ неспособности и дряблости, а самъ оказывается потомъ столь же неспособнымъ и безсильнымъ, то справедливость требуетъ сознаться, что по крайней мѣрѣ первые смотрѣли трезвѣе на вещи, менѣе обольщали себя надеждами, и — къ крайнему несчастію — были болѣе правы!..

Рудинъ не былъ пустословомъ, но былъ положительнымъ дѣятелемъ. Тамъ, гдѣ слово выходитъ изъ обыкновенной колеи и возвышается до краснорѣчія, до силы подмывающей, двигающей, не дающей покоя, — тамъ рѣчь становится дѣломъ, говорунъ обращается въ проповѣдника, — а рѣчь Рудина, какъ мы знаемъ изъ словъ Васистова, дѣйствительно потрясала, сдвигивала, зажигала человека. Виновать-ли Рудинъ, если слово его возбуждало людей, которые не могли или не знали какъ двигаться? Представьте себѣ возбужденное состояніе людей въ пустой комнатѣ: они будутъ говорить, пѣть, плясать махать руками, но если изъ этого ничего не выйдетъ, то это не вина возбужденія. Намъ могутъ возразить, что именно пустословіе Рудина въ томъ и заключалось, что онъ не указывалъ, что нужно дѣлать и какъ дѣлать, что это былъ пу-

стой набатъ, поднимающій людей среди самаго глубокаго и пріятнаго сна, въ то время, когда никто не могъ указать, гдѣ пожаръ или кого грабятъ, чѣмъ тушить и кому помогать. Но человѣкъ, будившій спящихъ, былъ бы крутомъ виноватъ въ томъ только случаѣ, если-бы будилъ ихъ для собственного удовольствія, если-бы не было никому нужды, не предстояло дѣла, требующаго общественнаго содѣйствія, но какъ скоро дѣло было и помощь требовалась, то будильщикъ былъ правъ: онъ сдѣлалъ свое дѣло. Можно сказать, что труды его оказались безцѣльными, что усердіе его было неумѣстно—объ этомъ никто спорить не будетъ, но научить каждого, что дѣлать и какъ дѣлать, куда идти и кого искать—это не дѣло пропагандиста, да и не можетъ быть дѣломъ одного человѣка. Пера понять, что никакой вожатый, никакой герой общественнаго дѣла не возможенъ, если не созрѣло самое дѣло, если оно такъ сложно, что требуетъ содѣйствія самыхъ разнородныхъ элементовъ, и нѣтъ для него подготовленныхъ и достаточно сильныхъ рабочихъ!

Рудинъ не ограничивался одними словами. Когда онъ видитъ, что эти слова не приносятъ пользы, онъ хватается за всякое дѣло. Онъ пробуетъ служить, и не уживается, разумѣется, на службѣ; онъ дѣлается учителемъ гимназіи; кажется съ его познаніями, съ его даромъ слова это не значитъ брать дѣло не по си-

ламъ и способностямъ, но ему не даютъ и этого дѣла; онъ хочетъ дѣйствовать черезъ богатаго и благонамѣреннаго человѣка, но тотъ оказывается тупымъ самодуромъ; Рудинъ бросаетъ теплое мѣсто и идетъ на голодъ и нужду; онъ встрѣтилъ какого-то необыкновенно-практическаго человѣка, прилѣпляется къ нему, живетъ въ землянкѣ, ѣстъ черный хлѣбъ и убиваетъ послѣднюю копѣйку, — а дѣло разлетается; Рудинъ даже покушался быть секретаремъ важнаго сановника, но разумѣется съ своимъ направленіемъ, желаніями, цѣлями, вездѣ былъ лишній, вездѣ жизнь выбрасывала его: у читателя сжимается сердце, какъ оно сжимается у его товарища Лежнева, когда посѣдившій, обезсиленный, изгоняемый въ деревню Рудинъ рассказываетъ ему про свои походы: „Всего рассказать нельзя, говоритъ онъ, — да и не стоитъ... Маялся я много, скитался не однимъ тѣломъ — душою скитался. Въ чемъ и въ комъ я не разочаровывался? Богъ мой! съ кѣмъ не сближался, да, съ кѣмъ? повторилъ Рудинъ, замѣтивъ, что Лежневъ съ какимъ-то особеннымъ участіемъ посмотрѣлъ ему въ лицо. — Сколько разъ мои собственные слова становились мнѣ противными — не говорю уже въ моихъ устахъ, но и въ устахъ людей, раздѣлявшихъ мои мнѣнія! Сколько разъ переходилъ я отъ нетерпѣливости къ раздражительности ребенка, къ тупой безчувственности лошади, которая уже и хвостомъ не дрыгаетъ, когда ее сбѣчетъ

кнутъ... Сколько разъ я радовался, надѣялся, враждовалъ и унижался напрасно! Сколько разъ вылеталъ соколомъ и возвращался ползкомъ, какъ улитка, у которой раздавили раковину! гдѣ не бывалъ я, по какимъ дорогамъ не ходилъ! а дороги бываютъ грязныя, прибавилъ Рудинъ и слегка отвернулся...

Какая страшно тяжелая и печальная картина! сколько въ ней страданій, униженія, приносимыхъ въ жертву самому честному дѣлу и оказавшихся жертвами бесполезными! И такого человѣка, такъ мучительно стремящагося къ дѣлу, называть идеалистомъ? — Повторяемъ: люди 60-хъ годовъ могли въ то время, во время своей молодости, свысока отнестись къ этимъ хватающимъ за душу словамъ Рудина, но если они повторятъ тоже теперь, то мы скажемъ имъ, что опытъ ихъ ничему не научилъ, и ни отъ чего не отрезвилъ.

Безпристрастная критика давно отдала справедливость той проницательности и вѣрности пониманія, съ которыми Тургеневъ умѣлъ подмѣтить въ самомъ зародышѣ проявленіе малѣйшаго движенія въ общественной мысли, и выяснить его въ литературной формѣ. Эта черта проницательности, наблюдательности — есть одна изъ самыхъ существенныхъ въ талантѣ и заслугахъ Тургенева и потому самое появленіе Рудина подъ перомъ вышеназваннаго автора было не случайно: въ Рудинѣ, впервые послѣ Чацкаго, черезъ долгій промежутокъ времени, высказывается въ обществѣ стрем-

леніе къ политической дѣятельности. Съ тѣхъ поръ прошло много времени, самый взглядъ на значеніе собственно политической дѣятельности много измѣнился, и на сцену выступаютъ болѣе широкія экономическія и общественныя задачи. Въ своемъ мѣстѣ мы коснемся вопросовъ, занимающихъ современныхъ литературныхъ героевъ, но, каковы бы ни были эти вопросы, каковы бы ни были мнѣнія объ умѣстности и значеніи политическихъ стремленій, никто, конечно, не станетъ отрицать, что появленіе ихъ въ обществѣ было признакомъ его пробужденія и рѣзкій шагъ впередъ изъ того разслабленнаго и апатическаго саморазсматриванія, которымъ оно пробавлялось. Рудинъ—необходимое звѣно между людьми безплодной мысли и людьми дѣла, которыхъ общество ждетъ такъ долго и которые выступаютъ такъ незамѣтно. На немъ, какъ мы замѣтили, явны слѣды его предшественниковъ, дѣятельность Рудина является дѣятельностью слова, онъ въ спорахъ даже, какъ прежніе говорунны, беретъ не знаніемъ и фактами, а діалектической ловкостью. Пигасовъ, на примѣръ, говоритъ противъ убѣжденій.

— Стало быть, по вашему, убѣжденій нѣтъ? спрашиваетъ Рудинъ.

— Нѣтъ и не существуетъ!

— И это ваше убѣжденіе?

— Да! отвѣчаетъ Пигасовъ, понавши въ лопушку.

— Какъ-же вы говорите, что ихъ нѣтъ? Вотъ вамъ уже одно на первый случай! подхватываетъ Рудинъ. Рудинъ въ отношеніи къ женщинамъ является намъ чистымъ идеалистомъ: онъ пригласилъ на свиданіе французенку, и на свиданіи, къ смѣху Пигансова и бѣшенству французенки, гладилъ ее только по головѣ; объ его столкновеніи съ Натальей Ласунской — то же мало выказавшемъ рѣшимости — мы говоримъ въ другомъ мѣстѣ. Въ Рудинѣ не достаётъ строгой честности, трезвости взгляда и никакой практической складки. Но Рудинъ уже дѣятель, Рудинъ ищетъ работы, толкаетъ, побуждаетъ на нее. Лежневъ приписываетъ его непрактичность тому, что онъ не знаетъ Россіи. Для спеціалиста, для человѣка съ опредѣленною, положительною цѣлью это дѣйствительно необходимое условіе успѣха, но, прежде нежели заняться тѣмъ или другимъ дѣломъ, надо разбудить людей и сказать имъ о необходимости дѣла; служеніе общей идеи должно предшествовать дѣлу спеціалистовъ и частныхъ дѣятелей точно также, какъ организаторское, — заключать его. Идеи, которымъ Рудинъ служить, еще слишкомъ общи и расплываются: онѣ не созрѣли въ его головѣ, и не получили сжатую и опредѣленную форму, какъ напр. идея Инсарева, но безъ этой общности, безъ этого начала не могло обойтись то зрѣлое, подробное и точное опредѣленіе нашихъ нуждъ, которое составляетъ задачу и характеризуетъ дѣятельность настоя-

щаго времени. Это всходъ сѣмянъ, брошенныхъ на нашу почву Рудиними!

Конецъ Рудина, не попавшій въ первое изданіе этой новѣсти показываемъ, что Рудинъ не принадлежалъ къ числу людей слова, онъ умираетъ убитый на парижской баррикадѣ, сражаясь за свободу чуждаго ему народа. Теперь спросимъ мы читателя: такъ-ли умираютъ люди слова, люди, не имѣющіе воли и твердости, чтобы пожертвовать собою своему дѣлу? А Рудинъ, повторяемъ, былъ вполне человекомъ сороковыхъ годовъ!

VI.

ИНСАРОВЪ.

Такъ называется герой романа „Наканунъ“. „Наканунъ чего?“ спрашивалъ себя, вѣроятно, каждый читатель того времени. „Когда наступитъ день?“ спрашивалъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ тогдашнихъ критиковъ. Теперь мы знаемъ, какое время предвѣщалъ намъ заглавіемъ своего романа, необыкновенно чуткій ко всякому движенію мысли, авторъ; наступилъ и просіялъ ожидаемый день—и мы уже не чаемъ никакихъ неожиданностей: жизнь вошла въ новую колею и поплелась ею. Но та ли это колея? Ведетъ ли она

насъ въ желанной цѣли или повернула назадъ отъ нея? И если вѣдетъ, то прямо или околесицею?

Разсмотрѣніе этихъ вопросовъ не имѣетъ здѣсь мѣста. Мы посмотримъ, что ждало тогдашнее общество, и не забывая въ слѣдующій день, займемся кануномъ его.

Двое пріятелей, художникъ Шубинъ и будущій профессоръ Берсеньевъ — оба люди молодые, умные и развитые — лежатъ подъ деревомъ и разсуждаютъ о любви, жизни и проч.

— Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока всѣ наши члены въ нашей власти, пока мы идемъ не подъ гору, а въ гору, говоритъ художникъ Шубинъ. Чортъ возьми! Мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюемъ себѣ счастье!

— Будто нѣтъ ничего выше счастья? спрашиваетъ тихо Берсеньевъ.

— А напримѣръ?

— Да вотъ напримѣръ мы съ тобою, какъ ты говоришь молоды, мы хорошіе люди, положимъ, каждый изъ насъ желаетъ себѣ счастья... Но такое ли это слово счастье, которое соединило, воспламенило бы насъ обоихъ, заставило бы насъ обоихъ подать другъ другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такія слова, которыя соединяютъ?

— Да, ихъ не мало! и ты ихъ знаешь, отвѣчаетъ Берсенева и — называетъ: искусство, родину, науку, свободу, справедливость.

Берсенева и Шубинъ собственно не расходятся въ своихъ стремленіяхъ. Каждый желаетъ счастья, полноты и удовлетворительности жизни; только одинъ выдѣляетъ свое личное счастье изъ общественнаго, другой — соединяетъ его съ нимъ; одинъ понимаетъ его уже, другой шире. Всѣ „большія“ соединяющія слова, которыя называлъ Берсенева, ведутъ къ одной цѣли, служатъ одному дѣлу: полнотѣ и счастью человѣческой жизни. Человѣкъ, служащій этому дѣлу во всей его полнотѣ или какой либо частности, т. е. работающій для науки, искусства, свободы, справедливости и проч., и достигающій своихъ цѣлей и желаній, конечно, болѣе и прочнѣе счастливъ, нежели человѣкъ, полагающій свое счастье въ любви какой либо дѣвушки и добившійся этой любви. Нечего говорить насколько идеалъ одного выше, полнѣе и разумнѣе идеала другого, да и самъ живой и впечатлительный художникъ Шубинъ не думаетъ объ этомъ спорить; онъ только увлекся требованіемъ своей молодой, здоровой натуры, но, поглубже вдумавшись въ дѣло, онъ самъ впоследствии настойчиво, нетерпѣливо спрашиваетъ у Увара Ивановича — этого олитворенія лѣнивой, черноземной силы: „будутъ ли, Уваръ Ивановичъ, когда же будутъ у насъ люди“.

Мы привели этотъ разговоръ какъ доказательство того, что въ эпоху Инсарова между молодыми людьми уже являлись не отвлеченные споры о конечномъ и безконечномъ, но произносились такіа соединяющія слова, какъ родина; свобода, справедливость. Мало того, являются люди, которые полагають счастьемъ и цѣлью своей жизни служить идеямъ, представляемымъ этими словами, и такимъ человѣкомъ является герой романа Инсаровъ.

Послѣ Рудина, пропагандиста, человѣка слова, долженъ былъ явиться человѣкъ дѣла; Инсаровъ и есть такой человѣкъ. Онъ хочетъ свободы родины и работаетъ всѣми отъ него зависящими средствами на освобожденіе родины отъ турецкаго ига: читатель знаетъ, что Инсаровъ былъ болгаръ.

И такъ, на сцену является уже настоящій политическій дѣятель. Онъ не русскій и не можетъ быть русскимъ, потому что такой дѣятель какъ мы говорили при нашей обстановки невозможенъ; его задача — не наша задача; но появленіе его въ литературѣ доказываетъ, что въ развитой части общества явились стремленія выше желанія покорять сердца сдающихся съ радостью, но только на законномъ основаніи, двѣушекъ.

Такъ какъ не состоящихъ въ штатѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, политическихъ дѣятелей въ Россіи не полагается, то посмотримъ, какіе они бывають въ Болгаріи.

Лучше всего характеризуетъ, какъ онъ выражается, „гироя“ Инсарова умный Шубинъ:

„Вотъ формулярный списокъ господина Инсарова, говоритъ онъ: „Талантовъ никакихъ, поэзіи *нема*, способностей къ работѣ пропасть, память большая, умъ не разнообразный и не глубокий, но здоровый и живой, сушь и сила и даже даръ слова, когда рѣчь идетъ объ его — между нами сказать — скучнѣйшей Болгаріи; сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своей землей *связанъ*, не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся молъ въ насъ живая вода! За то и задача его легче, удобопонятнѣе: стоитъ только турокъ вытурить, велика штука!“

Къ этой характеристикѣ, сдѣланной умнымъ соперникомъ, прибавимъ тѣ черты, которыя дастъ самый романъ. Инсаровъ бѣденъ, но расчетливъ и точенъ, какъ нѣмецъ; онъ никѣмъ не одолжается и въ бездѣлицахъ, и когда Берсенева предложилъ ему жить въ нанятой имъ дачѣ, Инсаровъ сначала отказывается, но потомъ, рассчитавъ сколько Берсеневу придется платить за каждую комнату, находитъ возможнымъ нанять одну, но отъ общаго обѣда отказался, потому что не въ состояніи обѣдать такъ, какъ Берсенева. Инсаровъ дѣятеленъ, но вся его дѣятельность безъ исключенія направлена на одну точку, на одну цѣль — родину. Онъ не служить ей какойнибудь одной ис-

ключительной стороной, напимѣрь, какъ писатель, пропагандистъ, воинъ,—онъ дѣлаетъ для всея все, что можетъ: переводить съ болгарскаго на русскій, и съ русскаго на болгарскій, чтобы способствовать ознакомленію родины съ народомъ ей полезнымъ, составляетъ болгарскую грамматику, разбираетъ споры земляковъ, ведетъ переписку съ мѣстными дѣятелями, — словомъ, онъ, весь въ своей Болгаріи, и когда говоритъ о ней, то совершенно преображается. „Не то, чтобы лицо его разгоралось или голосъ возвышался, — говоритъ авторъ, — нѣтъ, но все существо его будто крѣпло и стремилось впередъ, очертанія губъ обозначалось рѣзче и неувимѣе, а въ глубинѣ глазъ зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь“.

Таковъ Инсаровъ — болгарскій политическій дѣятель. Изъ этого описанія мы видимъ, въ какой степени чувство, руководившее Инсаровымъ, вошло въ его плоть и кровь, выросло въ немъ органически, а не было надуманнымъ, принятымъ, по размышленіи, рѣшеніемъ. Для того, чтобы подобное чувство до такой степени овладѣло человекомъ нуженъ особенный складъ обстоятельствъ, нужно съ колыбели чувствовать тѣ гнетущія обстоятельства, которыя его вызвали,—нужно выносить это чувство на своей спинѣ и плечахъ. Припомнимъ, что мать Инсарова была похищена агою и зарѣзана, отецъ разстрѣлянъ безъ суда. Да и частный ли это случай? Съ однимъ ли Инсаровымъ было такъ

поступлено? Если бы такъ, то чувство, выросшее въ Инсаровѣ, было бы личное чувство мести,—но на дѣлѣ было не такъ: Инсаровъ не думаетъ собственно объ агѣ. Ему не до частной мести: не до себя только, когда страдаетъ вся родина, когда дѣло идетъ о ея мести, о ея освобожденіи. „Въ свое время и то не уйдетъ“, говоритъ Инсаровъ. „И то не уйдетъ“, повторилъ онъ,—и вы чувствуете, что Инсаровъ не такой человѣкъ, чтобы спустить свою обиду, — но ему не до нея пока. Да и какая была бы важность, что бы было за дѣло намъ и автору до какогонибудь обрусѣлаго болгарина Инсарова, который замышляетъ прыгнуть ножомъ въ какогонибудь турецкаго агу? — Это было бы герой какогонибудь раздирательнаго французскаго романа, а не политическій общественный дѣятель. Инсаровъ тѣмъ и силенъ, что вы видите за нимъ цѣлый народъ угнетенныхъ, оскорбленныхъ болгаръ, что его дѣло есть дѣло общее, что онъ только человѣкъ болѣе энергичный и поставленный въ болѣе удобныя къ политической дѣятельности обстоятельства, чѣмъ другіе его соотечественники. „Онъ съ своею землею связанъ“, говоритъ про него Шубинъ: „Послѣдній мужикъ, послѣдній нищій въ Болгаріи, и мы всѣ желаемъ одного и того же. У всѣхъ у насъ одна цѣль. Поймите, какую это даетъ увѣренность и крѣпость“, говоритъ самъ Инсаровъ. „И оно дѣйствительно понятно! Становится намъ понятнымъ и то, откуда

и почему являются такіе жалѣзные люди, какиѣмъ называетъ Инсарова Берсеновъ.

На этомъ портретѣ мы можемъ покончить съ Инсаровицѣмъ. Въ повѣсти описано только (по приведенному уже нами выраженію Добролюбова) изъ всей одиссеи—одно пребываніе Улисса на островѣ Калипсо, а единственный подвигъ, въ которомъ, могло въ русской столицѣ выразиться геройство болгарскаго патріота,—поверженіе въ прудъ пьянаго нѣмца,—могло бы быть и еще съ большимъ шансомъ на успѣхъ совершено и Уваромъ Ивановичемъ. Задача Инсарова вовсе неприѣмліма въ Россіи, и несравненно проще и удобопонятнѣе нашей, какъ справедливо замѣтилъ Шубинъ: „Стоитъ только турокъ вытурить, велика штука!“ Прибавимъ встать, что и Инсаровъ не народный герой,—народный герой это стихійная сила, которая является тогда, когда скрытое народное недовольство накопилось до взрыва. Такой герой долженъ дѣйствительно отчасти походить на идеаль шубинскаго героя: „Герой не долженъ умирать говорить: герой мычитъ какъ быкъ, за то двинетъ рогами — стѣны валятся. И онъ самъ не долженъ знать, зачѣмъ онъ двигается и двигаетъ“. Отъ этого и Инсаровъ, если бы и остался живъ, едва ли освободилъ бы родину: болгарская сила, двигающая героя помимо вѣли, еще не созрѣла.

Но оставимъ Инсарова и посмотримъ: каковы тѣ

„наши“, которые современны Инсарову и выведены вѣстѣ съ нимъ?

Вотъ Берсеневъ. Отецъ его былъ шеллингiанецъ и иллюминатъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ: ученый, который отпустилъ, умирая, на волю своихъ крестьянъ, и оставилъ рукопись: „О проступленiяхъ и прообразованiяхъ духа въ мірѣ“. Самъ Берсеневъ кончилъ курсъ въ университетѣ, и вся его мечта быть профессоромъ исторiи или философіи.

„И вы будете вполне довольны своимъ положенiемъ? спросила его Елена.

— Вполнѣ, Елена Николаевна; вполнѣ! *Какое же можетъ быть лучше призванiе? Подумайте: пойти по слѣдамъ Тимофея Николаевича!... Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущенiемъ, да... смущенiемъ, котораго... которое происходитъ отъ сознанiя моихъ малыхъ силъ“.*

Да, дѣятельность покойнаго Грановскаго была почтенная и завидная дѣятельность, и идти по немъ дѣло благое; но мы боимся, что Берсеневъ справедливо смущался сознанiемъ своихъ „малыхъ“ силъ. Значенiе Грановскаго состояло не въ томъ, что онъ читалъ исторiю,—мало ли кто читаетъ ее! Недостаточно приниматься за исторiю Гогенштауфеновъ даже послѣ любовнаго свиданiя, какъ дѣлалъ это Берсеневъ, чтобы замѣнить Грановскаго, и люди, которые находятъ, что поставить себя вторымъ номеромъ—все назначенiе

нашей жизни—могутъ быть очень хорошіе и скромные люди, но Грановскихъ не замѣняютъ и къ Инсаровымъ не подходить.

Второй „изъ нашихъ“, выведенныхъ въ романъ—Шубинъ—умный, впечатлительный, талантливый, но не постоянный художникъ Шубинъ. Человѣкъ ли онъ какихъ намъ нужно, къ какимъ взывалъ и о которыхъ спрашивалъ онъ самъ? Да! искусство и наука великія объединяющія слова; честное служеніе имъ дѣло хорошее, и муравей, влечащій въ свой муравейникъ сохоменку—не бесполезный муравей. Но когда рѣчь зайдетъ о большихъ, нужныхъ минутъ людяхъ, то про Шубина, какъ и про Берсенева, надо сказать слова Увара Ивановича: „Далека пѣсня!“

Наконецъ Курнатовскій—точный, дѣльный и практическій Курнатовскій—вотъ настоящій дѣятель эпохи, и недаромъ авторъ вывелъ его соперникомъ Инсарова. Да, это человѣкъ, стоящій на почвѣ принципа, и вы чувствуете, что онъ не одинъ, что за нимъ стоитъ фаланга сухихъ, черствыхъ и успѣвающихъ по службѣ чиновниковъ.

И вотъ наши русскіе люди, и еще изъ лучшихъ, которыхъ наша жизнь давала намъ въ то время, когда почувствовался запросъ на людей, когда внутреннія боли накалились до степени, вырывающей стонъ! „Все—либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо толкачи—изъ пустого въ порожнее переливатели, да палеи

барабаниня! говорить Шубинъ. А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самихъ себя изучили, щупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію, и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ что я молъ чувствую, вотъ что я думаю“. „И всѣ эти люди сидятъ по горло въ болотѣ, и дѣлаютъ видъ что имъ все равно, когда имъ дѣйствительно все равно“.

Не правда ли, что когда узнаешь поближе всѣхъ этихъ людишекъ, выставленныхъ въ романѣ, то крупная фигура безсловеснаго Увара Ивановича, этой непробудимой „черноземной силы“, представляется дѣйствительно самой замѣчательной, и въ немъ, когда онъ лежитъ, раскинувшись на постели своими пространными членами въ рубашкѣ, застегнутой запонкой на полную шею и свободно расходящейся на могучей, почти женскихъ формъ груди — вы видите дѣйствительно черты того народнаго героя, который не говоритъ, а только мычитъ, но когда двинетъ, то стѣны валятся, хотя и самъ не знаетъ зачѣмъ и для чего двигается!

Но Уваръ Ивановичъ и не думаетъ мычать и двигаться, и если его спрашиваютъ „когда же будутъ у насъ люди?“ — онъ только играетъ перстами и устремляетъ въ отдаленіе загадочный взоръ!..

VII.

БАЗАРОВЪ.

Время дѣлало свое дѣло; прошелъ рядъ событій, разсмотрѣніе которыхъ не входитъ въ планъ нашихъ статей, — наступилъ кризисъ; старыя понятія, возрѣнія, старые люди оказывались несостоятельными, разваливаясь и ломались; чувствовалось, что нужны не только новые порядки, но и новые для нихъ люди — и новый человѣкъ явился. Тургеневъ и тутъ, со свойственнымъ ему талантомъ и честностью, сослужилъ взятую на себя службу — онъ тотчасъ показалъ этого человѣка въ лицѣ Базарова.

Новый человѣкъ! Да дѣйствительно ли онъ новый? И бываютъ ли вообще новые люди? На это мы съ увѣренностью можемъ отвѣчать положительно. Да, Базаровъ дѣйствительно былъ новымъ человѣкомъ; новый человѣкъ не только бываетъ, но и бываетъ очень часто. Всякое новое движеніе, новая мысль, новый кризисъ выводятъ непременно новыхъ людей и новые люди — вовсе не новость. Еслибы мы вздумали исчислять, начиная хоть съ первыхъ христіанъ, — перечень древнихъ, среднихъ и новыхъ новыхъ людей, мы долго бы его не кончили. Всѣ эти такъ называемые новые люди имѣютъ, между про-

чимъ, ту общую черту, что непосредственно происходя отъ старыхъ людей, и будучи кровно съ ними связаны, вѣсть съ тѣмъ постоянно враждуютъ съ ними и совершенно отрицаютъ ихъ значеніе.

Посмотримъ же на отличительныя черты нашихъ новыхъ людей того времени ибо, увы, надо правду сказать—тогдашніе новые люди стали уже теперь старыми: что другое, а люди и идеи мѣняются и линяютъ у насъ необыкновенно скоро?

Базаровъ—внукъ дядька и сынъ отставнаго штаб-лекаря. Это происхожденіе—одна изъ самыхъ существенныхъ чертъ новаго человѣка; она обозначаетъ ту экономическую почву, на которой человѣкъ появился и безъ которой онъ непонятенъ. Эта почва въ старину давала неизсякаемый источникъ мелкихъ чиновниковъ наполнявшихъ старые суды и извѣстныхъ подъ именемъ крапивнаго сѣмени и мелкаго духовнаго причта, извѣстнаго подъ другимъ, не менѣе характеристичнымъ прозвищемъ. Но времена измѣнились; лучъ науки и голосъ честнаго отношенія къ жизни забрались въ эти трущобы и изъ нихъ стали появляться люди, взрослые въ нуждѣ, приученные къ труду, неизбалованные холей барства и съ перваго шага поставленные въ необходимость въ потѣ лица зарабатывать свей хлѣбъ. „Мы не въ диво работать“, говоритъ молодому Кирсанову старикъ Базаровъ, „я вѣдь плебей homo novus“—не изъ столбовыхъ“. Слышите? Старикъ Ба-

заровъ въ качествѣ трудящагося уже называетъ себя новымъ человекомъ: но онъ не правъ, — новые люди не тѣмъ только новы, что они трудомъ зарабатываютъ свой хлѣбъ, но тѣмъ, что они зарабатываютъ его иначе, нежели зарабатывали отцы и дѣды. Новая идея, — идея справедливости — не позволяла имъ уже кормиться тѣми средствами, которыми кормились отцы; барство пошатнулось и оторвалось отъ своего крѣпостного корня; крестьянину дана возможность выкупить, или выработать кусокъ земли, всѣ старыя основы русской жизни пошевелились: въ это-ли время жить получиновному, полудуховному пролетариату, какъ оно жило прежде — на счетъ крестьянства и барства? Духъ новой жизни коснулся и его; въ то же положеніе стали и къ нему применили небогатые, сами зарабатывающіе хлѣбъ и сознательно сопедшіе съ барской ступеньки молодые помѣщики — и явились новые люди и въ этомъ-то экономическомъ положеніи новыхъ людей кроется зерно ихъ достоинствъ и недостатковъ!

Молодой Базаровъ съ молодымъ Кирсановымъ пріѣзжаютъ въ деревню къ отцу послѣдняго. Аркадій Кирсановъ-сынъ — это молодой помѣщикъ, весь подъ влияніемъ новаго человека и новыхъ идей, вносимыхъ имъ въ жизнь: мы скоро увидимъ долго-ли удержались въ немъ эти прививныя влияніе и идеи. Николай Петровичъ Кирсановъ-отецъ — это помѣщикъ, сознавшій новыя жизненныя и экономическія требованія и въ качествѣ

мягкаго, честнаго и неглупаго человѣка, старающійся приноровиться къ нимъ. И отецъ, и сынъ — это два переходныя звѣна, связывающія новыхъ людей со старыми; столкновеніе между ними и первыми должно быть мягкое — оно таково и есть. „Отецъ у тебя славный малый“, говоритъ Базаровъ Аркадію Кирсанову, „стихи онъ напрасно читаетъ и въ хозяйствѣ врядъ-ли смнѣнить, но онъ добрякъ“. — Не таково должно быть столкновеніе двухъ совершенно разныхъ людей; барина — аристократа англійскаго закала, со всѣми барскими идеями и привычками; какиѣ является въ романѣ Павелъ Кирсановъ, и молодого новаго плебея.

Молодого Базарова сперва поражаютъ аристократическія привычки Павла Кирсанова, его чопорность и щепетильность въ одеждѣ. — „А чудоковать у тебя дядя“, говоритъ онъ Аркадію, сидя въ халатѣ, на его постели и насасывая коротенькую трубку. „Щегольство какое въ деревнѣ, подумаешь! Ногти-то, ногти — хоть на выставку посылай!.. Я все смотрѣлъ: этакіе у него удивительные воротнички, точно каменные и подбородокъ такъ аккуратно выбритъ!.. Арханческое явленіе!“ заключаетъ онъ. Но едва Базаровъ познакомился съ идеями этого арханческаго явленія, — тонъ его измѣняется: онъ сдѣлывается съ нимъ зубъ за зубъ, становится грубъ, дерзокъ и когда Аркадій заговариваетъ ему, что онъ уже слишкомъ рѣзко обошелся съ дядей, — Базаровъ отвѣчаетъ:

— „Да, стану я ихъ баловать, этихъ уѣздныхъ аристократовъ! Вѣдь это все самолюбіе, лѣвинныя привычки, фатство! Ну, продолжалъ бы свое поприще въ Петербургѣ, коли ужъ такой у него складъ...”

Еще болѣе озлобленія возбуждаетъ Базаровъ въ Павла Кирсанова. Въ этомъ плесетъ все, начиная отъ небрежности въ одеждѣ до способа выраженія — возмущаетъ и оскорбляетъ чопорнаго и воспитаннаго на иностранныхъ преданіяхъ русскаго джентльмена. (употребляемъ это слово, такъ какъ соответствующаго ему русская жизнь не выработала). Особенно возмущаютъ его новыя идеи Базарова. Какія же это идеи?

На вопросъ дяди, что такое Базаровъ, Аркадій отвѣчаетъ словомъ, ставшимъ въ послѣдствіи равнозначущимъ паріи:

— „Онъ нигилистъ!”

— „Человѣкъ, который ничего не признаетъ!” говоритъ Николай Кирсановъ.

— „Скажи, который ничего не уважаетъ!” подхватываетъ братъ Павелъ.

— „Который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, поправляетъ ихъ Аркадій. Нигилистъ — это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ не былъ окруженъ этотъ принципъ, добавляетъ онъ.

Вотъ первое опредѣленіе нигилиста, нигилиста

„чистой крови“, такъ, какъ оно высказано самимъ авторомъ, впервые познакомившимъ свѣтъ съ народившимся страшилищемъ и давшимъ ему имя.

Мы не имѣемъ намѣренія ни защищать, ни порицать новое явленіе: мы относимся къ нему съ полнымъ безпристрастіемъ, какъ къ факту, и теперь, по прошествіи десяти лѣтъ, когда и страсти и самое явленіе утратили всю свою ѣдкость, — можемъ приступить къ его разсмотрѣнію съ полнымъ хладнокровіемъ. Мы были бы очень рады, еслибы и читатель нашъ, — къ которой бы сторонѣ онъ ни принадлежалъ, — откинувъ личныя и прижитыя чувства, отнесся бы къ этому дѣлу, также какъ и мы, безъ всякой предвзятой мысли.

Откинувъ всё, внослѣдствіи притвоя къ понятію о нигилизмѣ свойства и качества, и взявъ его опредѣленіе въ самомъ источникѣ, какъ онъ приведенъ выше, всякій безпристрастный человѣкъ долженъ сознаться, что въ немъ нѣтъ ничего страшнаго, ничего непонятнаго и ничего такого, съ чѣмъ бы не согласился всякій умный и безпристрастный человѣкъ. Нигилизмъ ничего не отвергаетъ слѣпо, точно также, какъ и ничего слѣпо не признаетъ: онъ только все повѣряетъ, ко всему относится критически. Со стороны людей, вызванныхъ къ жизни новыми экономическими условіями, изъ класса прозябавшаго доселѣ въ самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ, людей впервые взглянув-

иныхъ сознательно на свѣтъ и увидавшихъ иныхъ людей и инныя понятія, сложившіяся на совершенно чуждой экономической почвѣ,—со стороны такихъ людей совершенно естественно и послѣдовательно было не до-вѣрять слѣпо прежнимъ и не принимать на вѣру, во многомъ имъ чуждыхъ понятій и убѣжденій. Такое отношеніе новыхъ людей прямо вытекаетъ изъ причинъ ихъ породившихъ и не могло быть иное: скажемъ болѣе—оно даже желательно, ибо гораздо прочнѣе и плодотворнѣе тѣ понятія, тѣ убѣжденія, которыя приняты послѣ повѣрки, приняты сознательно, — нежели надѣтыя на себя, какъ новое платье носимое людьми, выросшими въ иныхъ привычкахъ и иной обстановкѣ! Нѣтъ! вина нигилизма предъ старымъ поколѣніемъ не въ новыхъ идеяхъ и не въ критической повѣркѣ понятій. Вина (или, лучше сказать, ошибка) послѣдующихъ нигилистовъ заключается именно въ томъ, что они измѣнили своему правилу и приняли на вѣру, безъ достаточной критической повѣрки, нѣкоторые ученія и понятія, имъ нравившіяся; ихъ вина (если это можно назвать виною) заключалась въ ихъ экономическомъ положеніи: не имѣющій не только прочнаго экономического положенія, но и гражданскаго, человѣкъ, оторвавшійся отъ старыхъ корней и невидящій возможности привиться къ чему либо, витающій такъ сказать въ воздухѣ, и въ очень душномъ и сыромъ воздухѣ, встрѣтился съ человѣкомъ, не только стоя-

щимъ на землѣ, но и владѣющимъ большою ея частью... Но не будемъ забѣгать впередъ, а обратимся къ той *приматъ* нигилистовъ, которую, въ лицѣ Базарова, выставилъ нашъ Тургеневъ и которая вовсе не страдала недостатками его послѣдователей.

Базаровъ по отцѣ дворянинъ и по матери самъ мелкій собственникъ; но онъ росъ и воспитывался какъ человекъ съ самыми ограниченными средствами и зналъ, что ему не на кого надѣяться, чтобы имѣть кусокъ хлѣба и выйти въ люди. Барство ему чуждо. Но барство, кромѣ своихъ понятій, выработало нѣкоторыя привычки, дающія ему наружныя преимущества, которыя усвоить, — не имѣя барскихъ средствъ и воспитанія, — довольно трудно. Базаровъ человекъ въ высшей степени самолюбивый: онъ знаетъ свои недостатки и потому, какъ человекъ умный, не только не скрываетъ ихъ, но выставляетъ какъ достоинства и умышленно ихъ преувеличиваетъ. Онъ не обладаетъ мягкостью и изящностью манеръ и является умышленно грубымъ; онъ не имѣетъ красиваго платья и изобилія въ бѣлѣ — и выказываетъ небрежность въ одеждѣ. Изъ этихъ умышленныхъ небрежностей потомъ иные не очень проницательные его послѣдователи, сдѣлали себѣ мундиръ. Точно также умышленное, преувеличенное пренебреженіе выказываетъ онъ иногда и къ существующимъ понятіямъ, — не вълѣдствіе повѣреніи ихъ, а какъ бы щеголяя своимъ отрицаніемъ. И потому

надо осторожно относиться къ его словамъ и отдѣлять въ нихъ напускное отъ естественнаго, что при нѣкоторомъ вниманіи вовсе не трудно. Такъ напр. Павелъ Кирсановъ говоритъ объ аристократизмѣ и Базаровъ возражаетъ:

— „Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы! Подумаешь сколько иностранныхъ и безполезныхъ словъ! Русскому они даромъ не нужны“.

Кирсановъ замѣчаетъ что логика исторіи требуетъ:

— „Да на что намъ эта логика? прерываетъ Базаровъ. Вы, я думаю, не нуждаетесь въ ней, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда голодны... и пр.“

Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Мы дѣйствуемъ въ силу того, что мы признаемъ полезнымъ. Въ теперешнее время полезно отрицаніе — мы отрицаемъ“. А въ другомъ мѣстѣ, желая доказать, что все зависитъ отъ ощущеній, онъ говоритъ Аркадію: „Я придерживаюсь отрицательнаго направленія въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста!“

Тутъ сейчасъ видны противорѣчія, видно что говорится это не подумавши, подъ настроеніемъ минуты и вообще замѣтно, что Базаровъ еще молодъ, что проповѣдуемые имъ идеи не вполне выработались въ немъ. Но надо отдать справедливость Базарову: — онъ не дѣй-

ствуешь и не разсуждаешь по известному образцу и не стѣсняешься никакими доктринами, хотя бы самыми священными для либераловъ. Такъ онъ относится къ народу.

— „Стало быть, вы идете противъ народа?“ замѣчаетъ Кирсановъ-дядя, по случаю отрицанія патриархальныхъ воззрѣній.

— „А хоть бы и такъ? отвѣчаетъ Базаровъ. Народъ полагаетъ, что когда громъ гремитъ,—это Илья пророкъ въ колесницѣ по небу развѣзжаетъ; чтожъ? мнѣ соглашаться съ нимъ? Да и притомъ (весьма справедливо заключаетъ онъ) онъ русскій, — а развѣ я самъ не русскій?“

— „Вы его презираете, замѣчаетъ Павелъ Кирсановъ.

— „Чтожъ, коли онъ заслуживаетъ презрѣнія! Вы порицаете мое направленіе; кто вамъ сказалъ, что оно во мнѣ случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы такъ ратуете?“

Мы видимъ, что Базаровъ гораздо шире понимаетъ народный духъ, чѣмъ многіе изъ его послѣдователей, и не смѣшиваетъ его съ простонароднымъ. Въ этомъ случаѣ онъ сходится со старымъ республиканцемъ Кине, который смѣется и сердится, что ультра-либералы сдѣлали себѣ кумирь („peuple - Dieu“, какъ онъ выразился) изъ простонародья.

— „Ты сказалъ, говорить Базаровъ Аркадію, — прохода мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, бѣлая, — вотъ сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать.... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика Филиппа, или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ, ну а дальше?

Вообще основная мысль всѣхъ сужденій и дѣйствій Базарова — не эгоизмъ, какъ многіе полагаютъ, а практичность и практическое отношеніе ко всѣмъ доктринамъ, или онѣ, или нѣтъ, либеральнаго онѣ пошиба, или ретрограднаго.

— „А? что? не по вкусу? говорить онъ Аркадію, котораго покорило отъ нѣкоторыхъ его сужденій. Нѣтъ, братъ, рѣшился все косить, валяй и себя по ногамъ“.

Въ Базаровѣ нѣтъ слѣпой и ни къ чему не ведущей нетерпимости. Отецъ боится не будетъ ли ему непріятно обѣдать съ священникомъ. „Вѣдь онъ моей порціи не съѣстъ?“ спрашиваетъ Базаровъ.

— „Такъ ты задумалъ себѣ гнѣздо свить“, говоритъ онъ задумавшему жениться Аркадію, „чтожъ, дѣло хорошее!“

Аркадія это удивило и онъ думаетъ, что Базаровъ не искрененъ.

— „Охъ! другъ любезный! заключаетъ тотъ. Видишь, что я дѣлаю: въ чемоданѣ оказалось пустое мѣсто, и я кладу туда сѣно; такъ и въ жизненномъ нашемъ чемоданѣ, чѣмъ бы его ни наполнили, лишь бы не было пустоты... Ты поступилъ умно: для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не созданъ...“

Изъ всего этого мы видимъ, что базаровскій нигилизмъ — вовсе „не отрицаніе ради отрицанія“, или отрицаніе, какъ онъ выразился, „въ силу ощущеній“, въ силу того, что это пріятно, или „что наше дѣло расчищать, а тамъ пусть строятъ другіе“. Нѣтъ, онъ отрицаетъ только то, въ чемъ не видитъ пользы, и не думаетъ оставлять послѣ ломки пустоту, а совѣтуетъ замѣстить ее чѣмъ удобнѣе, что сподручнѣе. Именно въ этомъ и заключается, къ сожалѣнію, малозамѣченная и опѣненная особенность базаровскаго нигилизма, что онъ не отрицаетъ во имя какой нибудь предвзятой идеи, не думаетъ ломать, чтобы возвести на пороженъ мѣстѣ какое-нибудь на досугъ придуманное зданіе. Отъ этого базаровскій нигилизмъ вовсе не грѣшитъ тѣмъ, въ чемъ упрекали потомъ его послѣдователей; онъ не ломаетъ ради ломки, не работаетъ для какого-то выдуманнаго и недостижимаго идеала. Базаровскому нигилизму справедливѣе было бы дать иное, въслѣдствіи появившееся и — какъ это ни странно —

совершенно противузначающее ему названіе: названіе позитивизма, ученія положительности, а не отрицанія. И это названіе не противорѣчитъ ни повѣркѣ, ни ломкѣ, потому что для того, чтобы воздвигнуть что-нибудь положительное и полезное, нужно повѣрить степень полезности существующихъ и занимающихъ мѣсто построекъ и если найдемъ ихъ негодными, то и разломать. Наши опредѣленія базаровскихъ идей могутъ, повидимому, опровергать нѣкоторыя, подѣ вліаніемъ минутнаго расположенія, каприза, или раздраженія высказанныя Базаровымъ слова, — но такія слова приходится говорить всякому. Слишкомъ было-бы скучно жить на свѣтѣ и говорить съ людьми, еслибы надо было взвѣшивать каждое слово, болтая съ пріятелемъ, или вовсе отказавшись отъ живой и легкой бесѣды говорить только какъ въ прописи. Нужно и повѣрять и взвѣшивать слова, которыя высказаны при столкновеніи съ самимъ дѣломъ. А при этомъ столкновеніи, слова и дѣйствія Базарова согласны между собою и подтверждаютъ то, что мы говорили о немъ. Такъ Базаровъ относится къ браку: самъ онъ не видитъ надобности жениться, но для такого человѣка, какъ Аркадій, онъ находитъ бракъ удобнымъ. Такъ, когда передъ смертью Базарова, старикъ-отецъ проситъ его исполнить христіанскіе обряды, сынъ не входитъ въ бесполезный споръ, не отказываетъ отцу въ утѣшеніи — онъ только какъ будто откладываетъ исполненіе, говоря, что успѣетъ

еще. Базаровъ не любезничаешь и не заигрываетъ съ крестьяниномъ, не называетъ его до омерзительности глупымъ словомъ: „мужичекъ“. Базарову противно работать для благосостоянія какого нибудь будущаго Филиппа или Сидора, но онъ трудится, учится, подчиняется лишеніямъ, потому что находитъ наслажденіе работать въ настоящемъ, для нужды и для благосостоянія и этого мужика и ненавидимаго имъ барича. Базаровъ работаетъ для дѣла жизни, — жизни сложившейся, какъ она есть, а не сочиненной. Точно таковы же отношенія Базарова къ женщинамъ. Онъ не мягкій идиликъ: ему понравилась Одинцова, какъ красивая женщина и онъ это высказываетъ не церемонясь, т. е. высказываетъ то, что думаютъ девять десятыхъ мужчинъ, встрѣчаясь съ видной, красивой женщиной. Любовь, выросшая на счетъ матеріальной подкладки, дошла до такой силы, что чуть не завладѣла Базаровымъ, — но онъ замѣчаетъ, что изъ нея ничего путнаго не выйдетъ, что она мѣшаетъ его планамъ — и онъ съ кровью сердца вырываетъ эту любовь. Но взглядъ на женскій полъ и понятія о немъ не только у него не циничны, но замѣчательны тонкимъ пониманіемъ женщины. Такъ, Базаровъ, и въ самомъ началѣ и потомъ въ разгарѣ любви къ Одинцовой, цѣнить по достоинству ея сестру и, увидавъ ее въ первый разъ, говорить Аркадію: „Чудо не она (Одинцова), а ея сестра. Это вотъ свѣжо и нетронуто, и молчаливо,

и все что хочешь!“ И нѣтъ сомнѣнія, что еслибы Базаровъ вздумалъ искать не минутнаго сближенія, или удовлетворенія страсти, а полругу себѣ на всю жизнь, то выбралъ бы не Одинцову, а Катю.

Таковъ образъ мнѣній этого новаго и въ высшей степени замѣчательнаго человѣка, котораго вывело намъ начало шестидесятихъ годовъ. Взглянувъ на него безпристрастно и откинувъ все, что къ нему потомъ приросло и умышленно привязано его послѣдователями и его преслѣдователями, — повторяемъ, трудно найти въ немъ то пугало, которое видѣли одни и еще труднѣе — тотъ пасквиль на молодежь, который видѣли другіе. Стараясь представить въ настоящемъ свѣтѣ мнѣнія Базарова, какъ дѣятеля, — закончимъ очеркомъ его, какъ человѣка.

Въ этомъ отношеніи Базаровъ совсѣмъ не подходитъ къ слабосильной и нервной натурѣ всего ряда героевъ, которыхъ выводила намъ до него литература. Только въ Инсаровѣ есть подобная ему сухость и сила, но за то какъ шире и свободнѣе взглядъ и отношенія Базарова! — хотя, быть можетъ, эта русская ширь затрудняетъ и усложняетъ успѣхъ дѣятеля. Базаровъ — человѣкъ упорнаго, неутомимаго труда и желѣзной воли.

— „Видишь ли, человѣку иногда полезно взять себя за хохоль, да выдернуть какъ рѣдьку изъ гряды; это я совершилъ на дняхъ, говоритъ Базаровъ, —

и дѣйствительно онъ выдернулъ, — чего это ни стоило ему, — какъ негодную рѣдкую любовь, которая мѣшала ему дѣлать дѣло.

Базаровъ не любитъ ничего нѣжащаго и усыпляющаго, хотя вовсе не пуританинъ и подчасъ поддается искушенію.

— „Мы вотъ съ тобой попали въ женское общество, говоритъ онъ Аркадію, и намъ было пріятно; но бросить подобное общество — все равно, что въ жаркій день холодной водой окатиться. Мужчинъ нѣкогда заниматься подобными пустяками; мужчина долженъ быть свирѣпъ, гласить отличная испанская поговорка“.

И Базаровъ, дѣйствительно, если не свирѣпъ, то и не принадлежитъ къ мягкимъ людямъ.

— „Онъ хищный, говоритъ про него Катя Аркадію, а мы съ вами ручные“.

Но всего лучше Базаровъ обрисовываетъ самъ себя и людей его закала, говоря о разницѣ, которая существуетъ между нимъ и Аркадіемъ:

.... „Для нашей горькой, терпкой бобыльной жизни ты не созданъ, говоритъ онъ. Въ тебѣ нѣтъ ни дерзости, ни злости, а есть молодая смѣлость, да молодой задоръ; для нашего дѣла это негодится. Вашъ братъ, дворянинъ, дальше благороднаго смиренія, или благороднаго кипѣнія дойти не можетъ; а это пустяки. Вы, наприимѣръ, не деретесь, и ужъ воображаете себя молодцами, — а мы драться хотимъ. Да что! наша цель

тебѣ глаза выѣсть, наша грязь тебя замазаетъ, да ты и не доросъ до насъ; ты невольно любишься собою, тебѣ пріятно самого себя бранить, а намъ это скучно—намъ другихъ подавай! намъ другихъ ломать надо!... Ты славный малый, но ты все-таки мягенькій либеральный баричъ“.

А между тѣмъ, этотъ суровый и, повидимому, безпощадный человекъ,—не только не чуждъ общечеловѣческихъ слабостей (онъ любитъ хорошо поѣсть и выпить, любить женщинъ; несмотря на свою смѣлость, нѣсколько робѣетъ и смущается при встрѣчѣ съ Одиновой)—Базаровъ не менѣе чувствителенъ и нѣженъ, чѣмъ другіе, хотя не любитъ и считаетъ лишнимъ это выказывать. Такъ, когда въ отвѣтъ на горькую правду, которую мы привели выше: — „Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений, печально промолвилъ Аркадій, и у тебя нѣтъ другихъ словъ для меня?“—то Базаровъ, почесавъ въ затылкѣ, отвѣчаетъ: „Есть, Аркадій, есть у меня другія слова, только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ, это значитъ разсырониться“.

Такъ, когда онъ рѣшился, нѣсколько лѣтъ не видавшись съ родителями, уѣхать отъ нихъ черезъ три дня опять къ Кирсановымъ, гдѣ ему удобнѣе заниматься и Аркадій замѣчаетъ, что не легко будетъ сообщить старикамъ это извѣстіе, — Базаровъ говоритъ:

— Не легко! Чортъ меня дернулъ поддразнить

отца онъ на-дняхъ велѣлъ выскѣть одного своего об-
рочнаго мужика, — и очень хорошо сдѣлалъ, — да, да,
не гляди на меня съ такимъ ужасомъ, — очень хорошо
сдѣлалъ, потому что воръ и мѣняница онъ страшнѣй-
шій; только отецъ никакъ не ожидалъ, чтобы я объ
этомъ, какъ говорится, извѣстенъ сталъ. Онъ очень
сконфузился, а теперь мнѣ придется въ добавокъ его
огорчить!... Ничего, до свадьбы заживетъ, прибав-
ляетъ онъ съ своимъ напускнымъ безстрастіемъ, а меж-
ду тѣмъ, цѣлый день не рѣшается объ этомъ сказать,
и только вечеромъ, разставаясь съ отцемъ, говорить
ему о томъ торопливо и съ натянутымъ зѣвкомъ и
равнодушіемъ, сквозь которые видно все его сму-
щеніе.

Вся эта совѣстливость, скрытность, боязнь выска-
зать нѣжные порывы сердца, показываютъ, что передъ
нами живой человѣкъ, а не автоматъ, заведенный ме-
ханикомъ; это переливается горячая кровь и двигаютъ
восприимчивые нервы; ихъ просвѣтъ сквозь кожу
умѣлъ показать намъ художникъ-авторъ. Съ правдой
и естественностью, встрѣчаемой только въ дѣйстви-
тельной жизни, художественно подмѣчено и изображено въ
Базаровѣ, какъ съ болѣзью и упадкомъ нервъ сла-
бѣютъ энергія и суровость человѣка и онъ дѣлается
нѣжнѣе и впечатлительнѣе. Такъ, когда Одинцовой,
при отъѣздѣ отверженнаго и глухо страдающаго Ба-
зарова, стало жаль его и она съ участіемъ протянула

руку,—гордый Базаровъ замѣтивъ это снисходительное состраданіе:

„Нѣтъ, сказалъ онъ и отступилъ шагъ назадъ. Человѣкъ я бѣдный, но милостыни еще до сихъ поръ не принималъ“, — и уѣзжаетъ, не пожавъ ея руки. Такъ говорилъ Базаровъ бодрый и здоровый. Между тѣмъ, этотъ же Базаровъ, увидѣвъ, что ему не долго остается жить, посылаетъ сказать о своей болѣзни Одинцовой. Онъ знаетъ, что пользы она никакой не принесетъ, спасенія отъ нея не будетъ, — но къ чему теперь гордость? къ чему суровость и лишенія?—можно, наконецъ, дать себѣ волю. И слабѣющая и умирающая мысль его обращается къ любимой женщинѣ. Одинцова пріѣзжаетъ и онъ не скрываетъ своей радости.

— „Ну, спасибо, говоритъ онъ съ своей обычной грубоватостью,—это по царски. Говорятъ, цари посѣщаютъ умирающихъ“. Онъ не только не отказывается отъ этой царской милости и принимаетъ ее, но въ послѣднюю минуту, когда мысли его начали мѣшаться—прикосновеніе ко лбу любимой руки пробуждаетъ ясность сознанія; весь остатокъ молодой погибающей жизни вспыхнулъ въ немъ; онъ приподнялся, схватилъ эту руку.

— „Прощайте, проговорилъ онъ съ внезапной силой, и глаза его блеснули послѣднимъ блескомъ. Прощайте... Послушайте... вѣдь я васъ не поцѣловалъ

тогда. Дуньте на умирающую лампу и пусть она погаснет“...

И тотъ Базаровъ, который просилъ Аркадія не говорить красивыхъ словъ — выражается какъ поэтъ. За минуту до безпамятства, но еще владѣя мыслями, онъ говоритъ Одинцовой:

— „Вы посмотрите, что за безобразное зрѣлище: червякъ полураздавленный, а еще топорщится. И вѣдь тоже думалъ обломаю дѣлъ много, не умру! Куда! задача есть, вѣдь я гигантъ; теперь вся задача гиганта, какъ бы умереть прилично, хотя никому до этого дѣла нѣтъ. Все равно: вилять хвостомъ не стану“.

И онъ не виляетъ хвостомъ. Но когда по желанію отца, надъ нимъ, лежащемъ въ безпамятствѣ, совершаютъ соборованіе — одинъ глазъ его раскрылся „и казалось, — говоритъ авторъ, — при видѣ священника въ облаченіи, дымящагося кадила, свѣтъ передъ образомъ, — что-то похожее на содроганіе ужаса мгновенно отразилось на помертвѣломъ лицѣ“. Не знаемъ, вѣрно-ли подмѣтилъ авторъ отразившееся впечатлѣніе, но возможно и естественно, что разслабленные нервы и погасающая мысль содрогнулись, увидавъ лицемъ къ лицу тьму развергшейся предъ ними бездны разрушенія, которая готовилась поглотить ихъ.

И потухающая лампа погасла, не успѣвъ еще и разгорѣться. Базаровъ умеръ, вслѣдствіе случайности,

отъ отравы черезъ порѣзъ при разсѣченіи зараженнаго трупа. Эта случайность могла быть преднамѣренно придумана правдивымъ авторомъ, который сознавалъ невозможность описывать мощнаго общественнаго дѣятеля въ то время, когда этихъ дѣятелей не бываетъ и самая дѣятельность невозможна. Но и въ этой случайности мы видимъ правду. Это та естественная случайность, вслѣдствіе которой умерло у насъ столько молодыхъ и замѣчательнѣйшихъ людей, отъ которой гибнуть, умираютъ всѣ сильныя натуры, появившіяся въ средѣ для нихъ неудобно, — та необходимая и непрѣмная случайность, которая точно по заказу является всегда, когда должна оправдать и подтвердить какой нибудь непреложный, но не всѣмъ еще понятный естественный законъ и такой же статистическій выводъ. Не будь этой случайности — эти люди все равно умерли бы рано, не довершивъ дѣла, умерли бы печально и трагически. Передовые бойцы, бросающіеся на твердыню, почти всегда гибнутъ: она сдается только упорнымъ послѣдователямъ.

VIII.

ЛЮДИ 60-ХЪ ГОДОВЪ.

Мы только что разобрали Базарова, примату, перворедынгу новаго человѣка, схваченный кистью великаго мастера. Но немного спустя, послѣ появленія этой приматы, широкій приливъ тѣхъ людей, которыхъ она была лучшимъ предвозвѣстникомъ, заставилъ себя чувствовать какъ въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ вліяніи. Молодые силы, всегда честныя въ своихъ стремленіяхъ, пора освободительныхъ преобразованій, всегда возвышающая народный духъ, не могли не отозваться выгодно на нравственномъ состояніи общества; съ другой стороны приливъ людей, выросшихъ въ неблагопріятной обстановкѣ и почувствовавшихъ потребность въ знаніи и болѣе здравыхъ понятій о жизни, не могъ не понизить уровня обращенной преимущественно къ нему литературы, которая должна была приноравливаться къ его средствамъ и вкусамъ, заговорить такимъ языкомъ, популяризировать такіа понятія, которыя давно уже были пережиты образованнѣйшимъ меньшинствомъ. Экономическое положеніе прилившаго поколѣнія и встрѣча его съ тѣмъ, которое было до сихъ поръ руководительнымъ, не могло не

остаться безъ послѣдствій и выразилось въ сектаторской нетерпимости и подозрительности. Все, что имѣло тѣнь сочувствія къ старому, что пыталось смягчить рѣзкость и крайность, что единой буквой не подходило подъ требованія новаго кодекса, считалось враждебнымъ, безчестнымъ или, по меньшей мѣрѣ, отжившимъ.

Надобно сказать правду, что дошедшая до колѣнаго разложенія гниль стараго времени и бѣшенство глубоко уязвленнаго отживающаго порядка, естественно вызывали эту нетерпимость. Но мы здѣсь говоримъ о новыхъ людяхъ, и потому останавливаемся на достоинствахъ и недостаткахъ новыхъ, а не старыхъ людей. Недостатокъ и достоинства эти явились какъ необходимое послѣдствіе экономическихъ и другихъ причинъ и весьма естественны, но они были и мы говоримъ о нихъ. Таковы были и нетерпимость и болѣзненная подозрительность ко всему прежнему. Въ критикѣ это направленіе прежде всего отразилось на томъ произведеніи Тургенева, которое пыталось изобразить новаго человѣка. Произведеніе это было заподозрѣно въ желаніи набросить невыгодную тѣнь на новое поколѣніе. Типъ, нами только что разобранный, въ которомъ такими рѣзкими и ясными чертами обрисована сила и трезвость его свѣжаго взгляда, казался недостаточно чистымъ и безукоризненнымъ. Потребовались новыя чистѣйшіе образцы—и такіе образцы явились и яви-

лись во множествѣ. Въ этихъ образцахъ, которые мы находимъ излишнимъ перечислять, взглядъ опытнаго читателя тотчасъ замѣчаетъ безжизненность, ихъ теоретичность. Видно было, что это не живые образы, выхваченные цѣликомъ изъ жизни, а именно образцы,—примѣрные люди. Мы высказываемъ это вовсе не съ цѣлью сужденія о степени художественности произведеній, а просто какъ фактъ, имѣющій свое значеніе. Этотъ фактъ указываетъ на то, что въ самой жизни еще недостаточно сложились и не обрисовались люди новаго типа, не стали еще полными дѣателями, и что молодое поколѣніе именно нуждалось въ этихъ новыхъ образцахъ, нуждалось въ указаніи какъ жить, въ чему стремиться, чему подражать; ему не было дѣла до художественной жизненности образцовъ, ему были нужны ясныя и положительныя указанія тѣхъ новыхъ правилъ жизни, по которымъ оно хотѣло устроиться и оно ихъ получало.

Разсмотримъ же эти образцы. Въ нихъ, въ этихъ образцовыхъ „новыхъ людяхъ“, какъ называли они себя, поражаетъ страшная самоувѣренность, на которую ни ихъ познанія, ни опытъ, повидимому, не даютъ имъ права. Люди эти воображали, что ими открытъ новый міръ, доселѣ никому не вѣдомый и никѣмъ не замѣченный, что они пролагаютъ новый путь, по которому никто еще не ходилъ. Правила, которыя проповѣдываютъ они, безусловно честны и разумны, но эта

проповѣдь дѣлается, доказывается и объясняется съ такими подробностями, какъ будто до тѣхъ поръ не было ни честныхъ людей, ни разумныхъ поступковъ, что возможно только объяснить именно ихъ поучительной цѣлью и уровнемъ читателей, для которыхъ они назначались. Новые люди весьма строги къ себѣ; они регламентируютъ жизнь съ аккуратностью и научностью, достойною нѣмецкихъ филистеровъ и входятъ по этому случаю, въ подробности, вызывающія свою наивность улыбку; общественныя слабости имъ какъ бы недоступны и единственная ихъ ахиллесова пятка, единственный искусъ, ими не выдержанный—это ситара.

Вообще характеръ этой литературы честный и наивный — напоминаетъ первое движеніе 20 годовъ, когда появились люди, думавшіе добродѣтелью и правдой исправить нравы и истребить зло и образовавшіе съ этой цѣлью союзъ благоденствія.

Люди 20 годовъ, побывавъ во время войны за границей, увлеклись порядками, тамъ введенными. Вновь выступившіе изъ низшей среды, люди 60 годовъ, познакомились съ нѣкоторыми недоступными дотогѣ для нихъ заграничными сочиненіями, увлеклись ихъ новизною. Разница состояла въ томъ, что первые знали болѣе жизни, были просвѣщеннѣе и зажиточнѣе, и не нуждались въ тѣхъ элементарныхъ воспитательныхъ свѣдѣніяхъ, которыя оказались необходимыми для послѣднихъ.

Враги такъ называемыхъ „новыхъ людей“, говорятъ, что они, какъ и члены общества „всеобщаго благоденствія“ въ своихъ цѣляхъ пошли далѣе и за предѣлы правительственнаго дозволенія, но мы не находимъ въ литературѣ никакихъ на это доказательствъ и потому считаемъ излишнимъ отыскивать въ ней черты, подлежащія вѣдѣнію цензурскаго и полицейскаго надзора; но мы хотимъ указать на другую ея особенность.

Какъ ясны и послѣдовательны повидимому ни были правила, которыми руководствовались литературные герои, но видно жизнь не такая простая штука, какою имъ казалась, если самые образцы, въ своихъ измышленныхъ дѣйствіяхъ, далеко расходились съ проповѣдаемыми ими правилами. Такъ наприимѣръ Лопуховъ для того, чтобы помочь нравящейся ему дѣвушкѣ вырваться изъ тяжелой семейной обстановки, бросаетъ науку, которой занимался и дѣятельность, къ которой приготовлялъ себя и собственно для ея освобожденія женится на ней какъ будто все его назначеніе было помочь одной дѣвушкѣ вырваться изъ семьи! Такъ въ другой разъ тотъ же Лопуховъ жертвуетъ своимъ дѣломъ для того, чтобы дать своей женѣ возможность выйти замужъ за любимаго человѣка, (о чемъ мы подробнѣе поговоримъ въ статьѣ о женщинахъ). Въ этомъ случаѣ Лопуховъ дѣйствовалъ какъ какой нибудь князь Греничъ или графъ Звѣздичъ Маринска-

го, которые готовы были весь свѣтъ перевернуть для любимой женщины. Но у Звѣздичей и Гремичей любовь и любовь именно безумная была ихъ специальностью, да и для общества не было большой потери, еслибы они дѣйствительно сломали для какой нибудь женщины свою шею. Между тѣмъ у Лопуховыхъ есть дѣла посущественнѣе и они, разсуждающіе о всякомъ своемъ поступкѣ, должны были понять, что жертвовать собою для одной дѣвушки, лишая тѣмъ своей дѣятельности все общество, крайне неразумно. Мы обходимъ молчаніемъ вызывающія часто улыбку приготовленія себя къ дѣятельности какого-то необычайнаго человѣка Рахмѣтова, но его отзывъ о достаточности знакомства съ пятью-шестью существенными сочиненіями (которые и понять дѣльно нельзя безъ хорошей подготовки), чтобы не имѣть нужды въ другихъ — успѣхъ Лопухова, который безъ специальныхъ знаній легко получаетъ мѣста и становится распорядителемъ огромнаго завода; его надежды и мечтанія — все это внушаетъ легкость отношенія къ наукѣ, внушаетъ полужнанію или лучше сказать полуневѣжеству ту самоуверенность, на которую, какъ мы сказали, оно не имѣло права *).

*) Настоящія замѣчанія вовсе не указываютъ на мнѣніе наше о романѣ, изъ котораго беремъ примѣры. Оцѣнка этого произведенія, какъ и всѣхъ источниковъ, которыми пользуемся, вовсе не входитъ въ нашу задачу.

Дѣйствительная жизнь, къ несчастію, скоро и сурово доказала это.

Слѣдя за новыми людьми по современнымъ литературнымъ источникамъ, мы замѣчаемъ, что по мѣрѣ удаленія отъ эпохи преобразованія самоувѣренность надежды и кругъ дѣятельности новыхъ людей все уменьшались, видно было, что борьба съ старымъ порядкомъ становилась для нихъ все труднѣе и труднѣе — хотя они все еще держались, все давали видъ, что поле сраженія за ними. Но вдругъ въ половинѣ десятилѣтія изъ самой среды этихъ новыхъ людей мы слышимъ стонъ, глухой и мучительный стонъ безвыходнаго отчаянія, стонъ, который можетъ издать только человѣкъ окончательно обезсиленный въ борьбѣ, — разочаровавшійся во всѣхъ вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ и въ отчаяніи опустившій руки! Мы говоримъ о повѣсти г. Слѣпцова „Трудное время“, самомъ талантливейшемъ и исполненномъ жизненной правды произведеніи поздней литературы и потому остановимся на немъ.

Молодой, довольно образованный землевладѣлецъ Щетининъ и его жена проживаютъ въ деревнѣ, хозяйничаютъ, помогаютъ по мѣрѣ средствъ крестьянамъ, относятся къ нимъ мягко и полагаютъ, что они совершаютъ все, чего можно требовать въ сей юдоли зла и плача отъ либеральныхъ землевладѣльцевъ. Но къ нимъ пріѣзжаетъ отдохнуть на лѣто университетскій товарищъ Щетинина, Рязановъ, занимающійся литера-

турой, и нарушаетъ весь строй и порядокъ ихъ жизни. Совершается это совершенно помимо намѣреній Рязанова. Рязановъ ни во что, повидимому, не вѣшивается, ни чему не учитъ, но онъ только не можетъ удержаться, чтобы не указывать на непоследовательность, которая проявляется въ каждомъ словѣ и дѣйствіи Щетининныхъ; онъ не протестуетъ; но въ каждомъ его словѣ, въ его молчаніи даже, слышится горькая, плохо затаенная насмѣшка; Рязановъ сбиваетъ своихъ хозяевъ съ толку, а между тѣмъ не даетъ никакого совѣта, никакой руководящей нити, за которую бы они могли держаться. Щетининъ, наприимѣръ, жалуется на прислугу. Рязановъ говорить, что это война двухъ сословій.

„Такъ по твоему хорошей прислуги, незачѣмъ и желать. Такъ что ли?

— Отчего же? желать никому не воспрещается. Можешь желать все, что тебѣ угодно.

— Но ты находишь, что это желаніе безразсудно.

— Нѣтъ. Я нахожу только, что оно немножко оригинально. Это все равно, еслибы пожелать, наприимѣръ, чтобы у тебя вдругъ вскочилъ хорошій волдырь на лицѣ, или чтобы ты схватилъ хорошую горячку. Согласись, что это вѣдь было бы оригинальное желаніе!

Щетининъ нанимаетъ плотниковъ, которые пришли къ нему оборванные и Христа ради просили работы. Онъ имъ даетъ плату дороже чѣмъ другіе, а тѣ его надули и изъубыточили рублей на пятьдесятъ.

Щетининъ ихъ разбранилъ, но не жалуется. Рязановъ доказываетъ ему, что онъ виноватъ, что бранить ихъ не имѣлъ права, а обязанъ былъ жаловаться, и что прощенье его есть поощренье къ плутовству.

— Да развѣ это хорошо жаловаться въ судъ? спрашиваетъ жена.

— А вы находите, что не хорошо? Почему же.

— А потому, что ихъ наказывать будутъ...

Я не знаю...

— Ну такъ что-же съ?

— Какъ, ну такъ что же?—Ихъ посадятъ въ тюрьму... вообще это...

— Можетъ быть и посадятъ. Если увѣщаніе не подѣйствуетъ и мѣрами кротости нельзя будетъ склонить...

— Но вѣдь они бѣдные. Вы забываете... откуда же они возьмутъ пятьдесятъ рублей.

— Если наличныхъ денегъ не имѣютъ, то можетъ оказаться движимость, скотъ.

— Ну, и...

— Продадутъ-съ! Что имъ въ зубы-то смотрѣть.

— Да вѣдь это я не знаю что такое... Это варварство!

— Очень можетъ быть-съ.

— Такъ какъ же вы предлагаете такія средства?

— Я никакихъ средствъ не предлагаю, я только напоминаю.

— Что же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагаетъ на человѣка извѣстныя обязанности. Пользуетесь правомъ—исполняй и обязанности.

Словомъ, Рязановъ говорилъ, какъ бы говорилъ всякій реакціонеръ, и доказываетъ Щетинину, что его помѣщичій либерализмъ непослѣдователенъ.

Точно также относится онъ и къ затѣямъ молодой помѣщицы. Та говоритъ, что хочетъ затѣять школу. Съ какою же цѣлью? спрашиваетъ онъ. „Странный вопросъ! обыкновенно для чего: это полезно“. И скоро? спрашиваетъ онъ. „Я завтра хочу начать. Мнѣ знаете, хотѣлось бы поскорѣе“. — То-то не опоздать бы! прибавляетъ Рязановъ.

Молодая женщина, вѣрившая въ Рязанова, добивается его мнѣнія о школѣ.

— Что-жъ я могу думать? отвѣчаетъ онъ. Знаю я теперь, что важъ хотѣлось завести школу и заведете. Я и буду знать, что вотъ захотѣли — и завели школу. Больше я ничего не знаю, слѣдовательно и думать мнѣ не о чемъ.

— А если я васъ прошу подумать, сказала Марья Николаевна, слегка покраснѣвъ.

— Это еще не резонъ, сядься напротивъ нея отвѣтить Рязановъ. Почему школа, для чего школа, зачѣмъ школа, — вѣдь это все неизвѣстно. Вы вѣдь и сами-то хорошенько не знаете, почему именно школу нужно заводить. Вонъ вы говорите—полезно. Ну и прекрасно. Да вѣдь мало ли полезныхъ вещей на свѣтѣ. То же вѣдь и польза-то бываетъ всяческая.

Такъ Марья Николаевна и не добилаь отъ него отвѣта.

Разъ Марья Николаевна, желающая добиться отъ

него его положительных мнѣній, просить его наконецъ не говорить съ ней этимъ тономъ, и Рязановъ объясняетъ нѣсколько почему онъ принялъ его.

— Да вѣдь тонъ... какъ вамъ сказать? Это такая вещь, которая зависитъ не отъ одного желанія.

— Отчего же.

— Да больше, я полагаю, отъ окружающей насъ жизни.

— Вы хотите сказать, что въ этой жизни диссонансы.

— Нѣтъ, я хочу сказать, что тонъ задается жизнью, а мы только подпѣваемъ. Пожалуй, можно и повыше поднять, да что толку? Жизнь сейчасъ и осадить.

Это признаніе силы установившейся жизни, весьма знаменательно въ устахъ одного изъ новыхъ людей, которые думали устроить новую жизнь. Между тѣмъ чрезъ нѣсколько страницъ, тотъ же самый Рязановъ на вопросъ Марьи Николаевны, что же остается дѣлать тому, который видитъ всю неурядицу и противорѣчіе этой жизни—отвѣчаетъ—„остается... остается выдумать, создать новую жизнь, а до тѣхъ поръ“... и онъ махнулъ рукой.

Какъ вамъ это нравится? Безполезно поднять тонъ, потому что жизнь осадить — и въ то же время надо создать новую жизнь?... Замѣчательно, что эти слова—суть вмѣстѣ единственные положительные слова, высказанныя Рязановымъ во всей повѣсти! Въ нихъ онъ въ первый разъ отступаетъ отъ своего постоянного ироническаго отрицанія, и какъ нарочно самъ

противорѣчить себѣ и выказываетъ несостоятельность своего идеала.

Молодая женщина не замѣчаетъ этого противорѣчія; она полагаетъ, что Рязановъ создалъ себѣ такую жизнь и живетъ ею, и она пристаётъ къ нему, чтобы онъ сказалъ ей, какою жизнью живетъ онъ.

— Напрасно. Не стоитъ! отвѣчаетъ Рязановъ.

— Но почему же?

— А потому, что это и не жизнь, а такъ, чортъ знаетъ что, дребедень такая же, какъ и всѣ прочія.

Марья Николаевна не вѣритъ — и напрасно. Жизнь Рязанова дѣйствительно должна быть безотрадная и мелкая жизнь.

Но отчего же спрашиваетъ читатель, также какъ спрашивала Марья Николаевна. Гдѣ же эта стройная новая жизнь, жизнь труда и борьбы, разумная положительная жизнь? Гдѣ эти люди, которые по ихъ сказанію умѣли устроить себѣ такую жизнь и другихъ научили жить ею? Гдѣ вся эта жизнь и эти люди, которыхъ такъ долго и настойчиво описывала литература? На это отвѣчаетъ намъ самъ Рязановъ, допрашивающій Марью Николаевну, куда и зачѣмъ она собирается ѣхать изъ деревни.

— Зачѣмъ вамъ хочется туда? Что васъ влечетъ dahin, dahin? Уже не думаете ли вы серьезно, что тамъ растутъ лимоны?

— А знаете ли, въ самомъ дѣлѣ, какъ я представляю

себѣ, что такое „тамъ?“ отвѣчаетъ молодая женщина. Я всегда воображала, что тамъ, гдѣ-то, живутъ такіе отличные люди, такіе умные и добрые, которые все знаютъ, все расскажутъ, научатъ какъ и что надо дѣлать, помогутъ, пріютятъ всякаго, кто къ нимъ придетъ... однимъ словомъ, хорошіе, хорошіе люди...

— Да, въ раздумьи говорилъ Рязановъ, хорошіе, хорошіе люди... Да, были люди. Это правда.

— А теперь?

— И теперь пожалуй еще съ пятокъ наберется.

— Какъ? Отчего такъ мало? Гдѣ же они?

— Гм! Странно какъ вы спрашиваете! Да развѣ они не люди? Развѣ они то же не подвержены разнымъ человеческимъ слабостямъ? Одни умираютъ, а другіе не умираютъ...

— Такъ что-же?

— Такъ просто погибаютъ.

— Какъ погибаютъ?

— Да такъ вотъ, пропадаетъ — и кончено. Вотъ какъ въ балетахъ: всетанцуетъ, танцуетъ, найдетъ на такое мѣсто — вдругъ хлопъ! — пропалъ.

— Да! подобрались покрупнѣе-то которые, подобрались, разсуждалъ Рязановъ какъ бы самъ съ собою, осталась одна мелкота. Впрочемъ, вы на нее не смотрите, что она мелкота. Это нужды нѣтъ. Она, мелкота-то эта, всѣ дѣла справитъ и всѣ эти артели заведетъ... на законномъ основаніи; они васъ тамъ пріютятъ и всѣ порядки вамъ расскажутъ какъ и что... да впрочемъ сами увидите.

— А вы? съ удивленіемъ спросила Марья Николаевна.

— Н-нѣтъ, я ужъ такъ какъ-нибудь обойдусь собственными средствами.

И Рязановъ такой же худой и желчный, какимъ

пріѣхалъ, отказавшись отъ спокойной деревенской жизни, отъ дружбы и любви прелестной женщины, въ дождь, въ грязь, захвативъ бѣднаго семинариста, желающаго учиться, садится въ телегу и уѣзжаетъ...

Куда, зачѣмъ?

— Да это смотря потому, какъ... вообще въ разные мѣста, говоритъ онъ, больше къ югу... Онъ, кажется, и самъ не знаетъ, куда и зачѣмъ ѣдетъ!...

Трудно представить себѣ впечатлѣніе болѣе тяжелое, чѣмъ-то, которое оставляетъ по себѣ Рязановъ, такъ полно заканчивающій собою время броженія и надеждъ начала шестидесятыхъ годовъ. Вы видите человека, который разбитъ жизнью въ дребезги. Все, во что онъ вѣрилъ, на что надѣялся — разбито до тла, вырвано съ корнемъ; а эти надежды и вѣрованія были не его частныя, личныя, не о себѣ думалъ онъ въ нихъ! Это были надежды и вѣрованія всего поколѣнія. Его горе — не горе старыхъ героевъ, навѣки утратившихъ свою возлюбленную... Какъ ничтожна и жалка та утрата въ сравненіи съ рязановскою. И за то Рязановъ до того подкошенъ этою неудачею, что лично о себѣ и не думаетъ, и когда ему почти навязывается любовь прекрасной, пылкой и энергичной женщины, когда ему стоитъ только сказать слово, протянуть руку за этой любовью — онъ тяжело опускаетъ голову: онъ и ей не вѣритъ, онъ и въ ней видитъ любовь не къ себѣ, а къ идѣ, которая его обманула и можетъ еще

обмануть... Да! Рязановъ иногда вывести читателя изъ терпѣнія своимъ грубымъ тономъ, своимъ постояннымъ лаконическимъ, иногда весьма жидкимъ, но всегда сбивающимъ съ толку отрицаніемъ. Но когда дашь себѣ трудъ попристальнѣе взглянуть въ этого человека, то невольно прощаешь ему всё его недостатки, ради его великихъ страданій!

Рязановъ человекъ недюжинный, онъ вѣроятно одинъ изъ тѣхъ пощаженныхъ судьбою людей, которые были „побольше“. какъ онъ выразился. Но особенная заслуга его состоитъ въ томъ, что когда все ломалось подъ его ногами, всё мечты, надежды, убѣжденія, судьба беспощадно разрушила, онъ имѣлъ твердость взглянуть прямо въ лицо вещамъ и сознать, что дѣло его было дѣло проигранное, потому что оно было выше возможности, потому что подъ основаніемъ его не было твердой земли и никто этой земли ему не дастъ ни вершка. Не смотря на всю близость и сродство съ погибшими людьми, не смотря на недавность пораженія, взглядъ Рязанова уже много отрезвленъ и поражаетъ часто своей вѣрностью и правдой, особенно если припомнить, что онъ является непосредственно за эпохой всеобщаго увлеченія. Но въ то же время вы замѣчаете, что это взглядъ человека, еще оглушеннаго ударомъ, непришедшаго въ себя, неуспѣвнаго стать снова на ноги, оглядѣться и выбрать какую либо дорогу. Туманъ прошелъ, предметы выступаютъ ясно;

какъ человѣкъ озлобленный, но честный, Рязановъ одинаково безпощадно относится и къ старымъ разрушившимся вѣрованіямъ и къ новымъ вѣрованіямъ, не выдержавшимъ пробы, но своихъ онъ не успѣлъ еще создать и опредѣлить и въ этомъ случаѣ, когда дѣло коснется опредѣленности, взглядъ его высказывается еще вполне шаткимъ. Напримѣръ Рязановъ скептически отозвался о школѣ, заведеніе которыхъ и доднесь составляетъ любимое занятіе и „дѣло“ такъ называемыхъ мыслящихъ людей новѣйшихъ романовъ, которые въ ней видятъ главный якорь спасенія и экономического благоденствія, забывая, что наши школы готовятъ большей частью только писарей.

Съ насмѣшкой относится Рязановъ и къ затѣямъ, какъ онъ выразился „мелкоты, которая всѣ дѣла справить, порядки укажетъ и всѣ эти артели заведетъ“... Рязанова уже не занимаютъ, ему даже пошлы эти затѣи; онъ, судя по отзыву, который дѣлаетъ о „тонѣ“, понявъ силу вѣками сложившейся жизни;—но въ тоже время этотъ же Рязановъ, недовольный настоящею жизнью, говоритъ, что „остается выдумать, создать новую жизнь“. Выдумать и создать новую жизнь! Понятно послѣ этого безвыходное положеніе Рязанова. Старую жизнь, по его мнѣнію, исправлять не стоитъ. Она сложилась на началахъ захвата, войны, силы, на законѣ борьбы за существованіе, съ нею ничего не поделаешь; нужно выдумать и создать иную жизнь на

инныхъ основанійхъ. Но выдумать пожалуй и можно, да пересоздать то, что сложилось вѣками и сложилось не въ силу той или другой теоріи, а въ силу жизненной необходимости; въ силу осадка и механическаго взаимнаго тренія тысяче-образныхъ личныхъ требованій — къ несчастію нельзя! Наслоеніе геологическихъ породъ, составляющихъ земную кору, могло бы быть также полезнѣе придумано. Соль, металлы, каменный уголь и еще невѣдомыя намъ богатства, которыя зарылись въ нѣдрахъ земли — желательнѣе было бы выдвинуть на поверхность вмѣсто голыхъ гранитныхъ скалъ — да что съ этимъ подѣлаешь, коль уже земля такъ наслонилась! И приходится рыться въ глубь.

И такъ, вотъ какова самая замѣчательная и выдающаяся личность, которую выставила намъ позднѣйшая литература и на которой мы и заканчиваемъ наше изслѣдованіе. Эта личность сильнѣе чѣмъ всѣ нападки враждебнаго ей направленія, говоритъ; что ея мечтанія и замыслы были неудобоприменимы. Неудача всегда виновна. Она всегда доказываетъ или что самая мысль, задача была ложна, нежизненная, или что при приведеніи ея въ исполненіе не приняты въ соображеніе всѣ противодѣйствующія силы. Настоящее крушеніе — и самъ Рязановъ, этотъ уплывшій и выброшенный на берегъ морякъ, чаявшій открыть новую землю, доказываютъ, что въ предпріятіи было и то и другое.

Если-бы буря не разбила ихъ корабль, они послѣ долгаго и тяжкаго скитанія вѣроятно возвратились бы сами, и не мечтая о новой землѣ подумали бы какъ лучше устроиться на старой. Но какъ бы путешествіе ни было неудачно задумано и исполнено, оно всегда приноситъ какую нибудь пользу; изъ него выносятся опытность, выносятся хоть то открытіе, что избранный путь не ведетъ къ избранной цѣли...

Если бы мы пожелали отчетливѣе разъяснить себѣ причину, по которой молодая, честная, исполненная лучшихъ желаній молодежь задалась неосуществимой цѣлью, мы, я полагаю, нашли бы ее въ экономическомъ и общественномъ положеніи этой молодежи.

Ей не доставало силы, которой былъ силенъ Инсаровъ. Новые люди, какъ и тѣ не старые люди, которые дѣйствовали во времена Шубина, не были связаны съ землею, не поняли требованій минуты и живая вода не только народа, но и той части общества, которая составляетъ его дѣйствующую и главную силу, въ нихъ не влилась... Но было бы несправедливо возлагать на одно молодое поколѣніе причины неудачи, лежащія во всемъ строѣ общества. Если молодое поколѣніе не угадало требованій времени, значитъ требованія эти не выяснились опредѣленно въ самомъ обществѣ, не сложились въ немъ, не перешли въ сознаніе хоть большинства. Шубинъ правду говорилъ про Инсарова, что его задача легче, удобопонятнѣе нашей

русской задачи, потому что ему сочувствуетъ вся земля, что его дѣло—дѣло каждаго болгарина! Не будемъ же винить молодое поколѣніе въ ложномъ пониманіи того, до чего недодумалось само общество, не будемъ винить его, что оно предложило лекарство больному свыше его средствъ или не по болѣзни, когда этотъ больной еще думаетъ, что лечиться вовсе не надо и что всякая болѣзнь—какъ выразился одинъ военный фельдшеръ—проходить „партикулярно“...

Послѣ Рязанова новыя люди окончательно ступениваются. Позднѣйшая литература не дала ни одного типа, который бы показалъ въ какую форму выльются люди настоящаго времени. Но одно становится замѣтно: они, кажется, не питаютъ замысловъ стать еще какими нибудь особенными новѣйшими людьми да и не имѣютъ въ томъ поводовъ, а стремятся просто быть разумными, честными и образованными смертными. И этого вполне достаточно: лишь бы ихъ было побольше—да конецъ ихъ стремленій былъ-бы не такъ печаленъ.

IX.

И Т О Г Ъ.

Окончивъ наше обозрѣніе героевъ литературы, посмотримъ общій выводъ.

Въ теченіи всего пятидесятилѣтія, которое обнимаетъ нашъ обзоръ, мы видимъ, что представители общественной мысли болѣзненно стремятся къ гражданской дѣятельности. Это стремленіе переживаетъ разныя фазисы, но оно постоянно неудовлетворяется и герои постоянно и глубоко страдаютъ, такъ что это нравственное страданіе и неудовлетворимость строевъ гражданской жизни становятся роковымъ удѣломъ представителей наиболее развитой части общества. Въ самомъ дѣлѣ, не замѣчательно ли, что въ теченіи столѣтія всѣ даровитѣйшіе русскіе литераторы не дали намъ ни одного изображенія, гдѣ мы бы видѣли какой либо счастливый исходъ для общественной дѣятельности, къ которой стремится всякій развитой человѣкъ; не дали ни одного изображенія, на которомъ бы съ чувствомъ хотя сколько нибудь удовлетворенной гражданской требовательности, могъ успокоиться взглядъ читателя; ни одного изображенія, которое окрыляло бы надежды молодости и давало бы силы на плодотворный трудъ, а не обѣщало одну безполезную борьбу съ препятствіями, съ разочарованіемъ и погибелью въ концѣ. Послѣ этого обзорѣнія совершенно понятна становится бездѣятельность общества, его лѣнь, не предприимчивость и равнодушіе къ собственнымъ дѣламъ, въ которыхъ такъ упрекаютъ его: это неизбѣжный выводъ изъ его прошлаго!

Вотъ это прошлое, какинъ мы его видѣли.

Пятьдесятъ лѣтъ назадъ, въ то время, когда Грибодовъ писалъ свое „Горе отъ ума“, общество было въ движеніи, молодое поколѣніе смѣло возвышало голосъ противъ общественныхъ язвъ и неурядицы, оно училось и готовилось къ той свободной и лучшей общественной самодѣятельности, на близкій доступъ къ которой тогда надѣялось.

Но произошелъ кризисъ, изображенія котораго литература не оставила намъ — и вмѣсто ожиданій Чацкаго, сбылись, новидимому, надежды полковника Скалозуба. Мы можемъ судить объ этомъ по той безвыходной апатіи, въ которой находимъ Онегина: въ первыя минуты послѣ пораженія и разочарованія невольно опускаются руки. Однакожъ мысль не можетъ долго оставаться въ бездѣйствіи. Она пробуждается въ Печоринѣ, но какъ и слѣдовало ожидать, при тогдашнемъ положеніи общества, принимаетъ извращенное и бесплодное направленіе; рвется въ какой-то фаталистическій демонизмъ и вскорѣ сама видитъ свою ложь. Далѣе неблагоприятныя условія, въ которыхъ находилась общественная мысль, отражаются на ней еще печальнѣе. Герои общества — ихъ совѣстно назвать его представителями — мельчаютъ и опошляются до послѣдней возможности: Гремичи и Звѣздичи Марлинскаго являются образцомъ блестящей ничтожности, а художники Екульниковскихъ драмъ — образцомъ вычурности, пышной фразы и извращенныхъ понятій. Бѣдной,

загнанной мысли не было мѣста, да, казалось, было совѣстно и являться въ головѣ подобныхъ героев и вотъ она забирается въ самую глубь лишнихъ людей, сидитъ въ нихъ боясь проглянуть наружу и занимается анализомъ мельчайшей внутренней жизни мельчайшихъ забытыхъ личностей. Она объясняетъ этимъ людямъ какъ они мелки, жалки и забыты, но эти объясненія не пробуждаютъ ихъ энергію, разслабленные воля и нервы въ нихъ не двигаются и смѣлости забытыхъ людей хватаетъ лишь на то, чтобы таинственно повѣдать пріятелямъ какіе они мелкіе и забытые люди!

Но привычка къ высказыванію своихъ мыслей усиливается: самая мысль нѣсколько окрѣпляется, становится сильнѣе и проявляется наружу въ видѣ горячаго слова, хотя и тутъ внѣшнія препятствія и внутренняя слабость отражаются на ней. Пропаганда Рудина обща и неопредѣленна; она будитъ, и то разумѣется только самыхъ чуткихъ, но не говоритъ имъ на что будитъ, не указываетъ дѣла, не направляетъ слабыя и разрозненные силы къ какой-либо точкѣ. Это пропаганда общихъ мѣстъ и общихъ честныхъ стремленій.

Пройдя чрезъ неопредѣленную личность Лаврецаго, находящаго возможнымъ для своего времени только пахать землю, — гораздо яснѣе проявляется общественное стремленіе во время Инсарова. Инсаровъ болгаръ и задача его примѣнима къ Болгаріи. Но по

сочувствію, которое встрѣчаетъ онъ не только въ лучшихъ людяхъ тогдашняго времени, но и въ русской дѣвушкѣ—мы видимъ, что въ обществѣ пробуждается неудержимая потребность къ самодѣтельности. Эта потребность вполне объясняется тѣмъ долгимъ бездѣйствіемъ общественной жизни, которой мы были свидетелями. Законы и требованія общества—тѣ же что и требованія личности; потребности жизни одинаковы для мозговой и для мышечной дѣятельности. Общество и человѣкъ, мозгъ и мышцы послѣ долгаго бездѣйствія, будутъ ли то отъ внѣшняго угнетенія, или болѣзни—неудержимо требуютъ движенія и это движеніе непременно проявится такъ или иначе. Оно проявится цѣлесообразно и разумно если есть цѣль, просторъ и выходъ, проявится въ видѣ движенія для движенія, — если иной цѣли и дѣла нѣтъ — но проявится непременно. Такимъ дѣятелемъ, человѣкомъ движенія является Базаревъ; однакожъ онъ умираетъ ничего не сдѣлавъ и этой смертію какъ бы указываетъ на невозможность дѣйствія. Но несмотря на то является самое движеніе, кризисъ. Этотъ кризисъ 60 годовъ, какъ и кризисъ временъ Чацкаго, не имѣлъ возможности опредѣленно отразиться въ литературныхъ герояхъ, являющихся съ одобренія цензуры — и потому мы въ состояніи судить о немъ только по его послѣдствіямъ, а послѣдствія эти, этотъ человѣкъ пережившій кризисъ является намъ въ лицѣ изломаннаго, разби-

таго, окончательно павшаго духомъ Рязанова. Сравненіе между положеніями Рязанова и Онѣгина представляется само собою. Но Онѣгинъ былъ человѣкъ времени упадка, человѣкъ выступившій на арену послѣ кризиса; Рязановъ, напротивъ человѣкъ бывшій самъ въ передѣлѣхъ. Это уцѣлѣвшіе остатки человѣка дѣйствія, попавшаго въ колесо машины и выброшеннаго ею. Одинъ сознательно апатиченъ, другой оглушенъ ударомъ; у одного руки опустились, потому что онъ не видитъ возможности приложить ихъ къ какому нибудь дѣлу — у другого онѣ въ бездѣйствіи, потому что еще болятъ отъ ушиба. Какое направленіе приняла мысль послѣ кризиса, каковъ человѣкъ настоящаго переживаемаго нами онѣгинскаго періода—литература намъ еще не показала... И такъ, Базаровъ остается еще пока не замѣненнымъ типомъ здороваго практическаго молодого дѣятеля.

Переходя къ другимъ выводамъ, которые даетъ намъ обзоръ литературныхъ героевъ, мы замѣчаемъ, что эти герои всѣ горячо заботятся о своей независимости. Такъ почти всѣ они не состоятъ на службѣ, почти всѣ не женятся:—всѣ они берегутъ себя, чтобы свободнѣе отдаться какой-то часовой широкой или общественной дѣятельности, хотя, увы — берегутъ напрасно!

Касательно общественнаго положенія нашихъ героевъ мы замѣчаемъ, что представительство мысли и

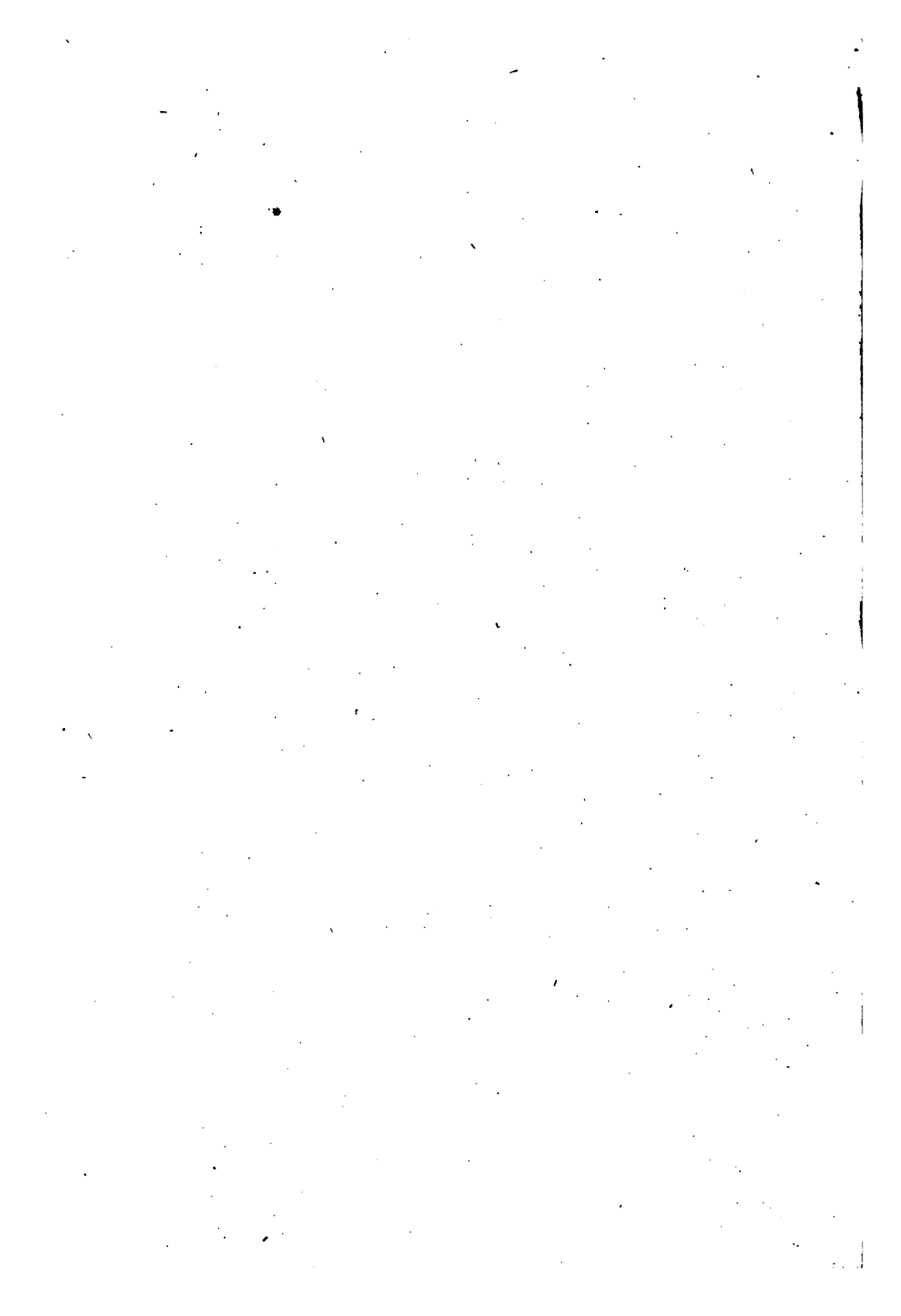
дѣятельности переходить изъ высшихъ и обезпеченныхъ слоевъ общества въ болѣе низшіе и нуждающіеся—оно такъ сказать демократизируется. Самое направленіе мысли становится, повидимому, строже и строже если она не падетъ вновь послѣ кризиса. Мысль сильнѣе беретъ перевѣсъ надъ чувствами, наконецъ самый героизмъ—эта смѣсь выдающихся способностей, силы характера, своеобычности и блеска постепенно мельчаетъ, какъ будто мы подходимъ къ періоду простыхъ рабочихъ силъ, общаго мелкаго труда во всѣхъ сферахъ и удаляемся отъ времени сильныхъ одинокихъ личностей. Въ этомъ отношеніи выводъ утѣшительнъ: то что потеряно въ силѣ и способностяхъ единицъ, вознаграждается развитіемъ большинства. Мысль, особенно мысль въ литературѣ послѣдняго періода, не представляетъ особенной силы и блеска, но она выясняется и становится сознательной: то, что не растетъ вверхъ, повидимому развивается въ ширь и растилается по землѣ. Эта современная мысль не настолько еще опредѣлилась и высказалась, чтобы можно было дать о ней положительное заключеніе, но, судя по нѣкоторымъ признакамъ, надобно думать, что она значительно отрезвляется и стремится стать на болѣе твердую и практическую почву.

Но каково бы ни было настоящее, въ какой бы мѣрѣ полезно или вредно не повліялъ недавній кризисъ на общественную мысль—сдѣланный нами обзоръ

истекшаго полстолѣтія убѣждаетъ насъ, что въ обществѣ, которое попало уже къ средѣ цивилизованныхъ, зародившаяся мысль не умираетъ и государство, которое не желаетъ видѣть себя обезсилившимъ и выброшеннымъ изъ среды цивилизованныхъ, рано или поздно бываетъ вынуждено силою вещей принять ея требованія.

На этомъ выводѣ, утѣшительномъ для тѣхъ друзей и сподвижниковъ развитія дѣла жизни, которые въ самомъ трудѣ своемъ находятъ отраду, мы заканчиваемъ первую половину нашего изслѣдованія. Успѣхъ въ будущемъ несомнѣненъ, но „что-жъ мнѣ, что Филиппъ или Сидоръ будутъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня будетъ лопухъ расти“ замѣчаетъ Базаровъ и замѣчаетъ весьма справедливо?

Въ какой мѣрѣ наше настоящее удовлетворяетъ людей здравой мысли и развитія—каждый можетъ судить по самой жизни; изящная литература, на которой мы основываемъ свои выводы,—пока не даетъ на это положительнаго отвѣта—если только не отвѣчаетъ умолчаніемъ.



ЧАСТЬ II.

ГЕРОИНИ.

Желая прослѣдить процессъ развитія женской половины русскаго общества, насколько онъ отразился въ нашей литературѣ, мы будемъ держаться тѣхъ-же источниковъ и порядка, какъ это дѣлали въ статьѣ о представителяхъ своего времени.

Какъ скоро рѣчь зайдетъ о женщинѣ — русской, или не русской, — это все равно, — сейчасъ чувствуешь себя въ области любви. И это весьма естественно, потому что потребность любви лежитъ главнымъ двигателемъ въ природѣ женщины. Мужчина, по своимъ физическимъ свойствамъ, можетъ и долженъ заботиться о добычѣ средствъ къ жизни, объ обстановкѣ ея и общественномъ устройствѣ. Женщина прежде всего создана, чтобы быть матерью, т. е. любить мужчину, родить и любить дѣтей. Можетъ быть нетерпѣливый

читатель упрекнет насъ въ узкости взгляда и тѣхъ рамокъ, которыя мы отводимъ женской дѣятельности, но мы полагаемъ, что онъ упрекнетъ насъ преждевременно. Мы ставимъ во главѣ и цѣли всего нашего существованія жизнь и ея требованія, потому что важнѣе этого для человѣка и человѣчества ничего и не видимъ; но требованія жизни велики • и неограниченны: всѣ наши успѣхи, все развитіе, открытія, добытыя опытомъ тысячелѣтій, — не только не удовлетворили еще самыхъ насущныхъ жизненныхъ требованій, но напротивъ, по мѣрѣ развитія человѣчества, эти требованія увеличиваются и всѣ труды всей массы людей никогда не насытятъ жажды этой разрастающейся гидры. Точно также опредѣляя назначеніе женщины преимущественно обязанностью матери, мы думаемъ, что требованія, налагаемыя этимъ назначеніемъ, такъ обширны, что всѣ настоящія стремленія въ женщинѣ къ образованію, независимому положенію, самостоятельному труду и общественной дѣятельности, — суть только начатки къ разумному выполненію своей задачи, — задачи какъ члена общества, подруги и сотрудницы мужчины, родильницы и первой воспитательницы будущихъ матерей и гражданъ. Мы полагаемъ, что, опредѣляя такимъ образомъ задачу женщины, мы отнюдь не стѣсняемъ раму ея дѣятельности и затѣмъ приступаемъ къ нашему изслѣдованію и погружаемся прежде всего въ море любви.

I.

СОФЬЯ ФАМУСОВА.

Передъ нами Москва. Раннее утро въ барскомъ домѣ, но въ немъ уже не спать, или, лучше сказать, не спать еще иныя. Горничная, дремавшая на стулѣ—просыпается и стучить въ запертую дверь своей барышни, которая, — о ужасъ! — сидитъ тамъ съ мужчиной и медлитъ съ нимъ разстаться. Если Жюльетта выходитъ ночью къ Ромео и даже, говоря возвышеннымъ языкомъ, — лобзается съ нимъ, это не оскорбляетъ и ханжу: тамъ, въ Италіи, между какими-нибудь Монтекки и Капулетти оно можетъ быть такъ и слѣдуетъ. Но въ Москвѣ, въ хорошемъ домѣ, свѣтская дѣвушка, проводящая ночь съ мужчиной, — это не только „исторія“, а „сконанель истоаръ“, какъ выражалась дама, пріятная во всѣхъ отношеніяхъ. Сконанель истоаръ дѣйствительно и происходитъ, но насъ не она занимаетъ.

Мы сейчасъ замѣтили, что сужденія объ одномъ и томъ же случаѣ бываютъ различны, смотря потому гдѣ, съ кѣмъ и въ какое время онъ произошелъ и кто судить; а потому посмотримъ, кто вышелъ на зарѣ изъ запертой комнаты. Выходитъ хорошенькая, моло-

дая дѣвица высшаго круга — Софья Павловна Фамусова, съ нѣкимъ мужчиной. Софья Павловна получила воспитаніе „какъ всѣ“, т. е. какъ всѣ дѣвушки ея средствъ и круга

Ужъ о твоемъ ли не радѣли
Объ воспитаніи съ колыбели?

говорить ея нѣжный отецъ

Мать умерла,—умѣлъ я признавать
Въ мадамъ Розье вторую мать

воспитательницу-совершенство, которая имѣла одинъ недостатокъ, что

За лишнихъ въ годъ пятьсотъ рублей
Сманилъ себя другими допустила.
Да не въ мадамъ сила
Когда въ глазахъ примѣръ отца.

Дѣйствительно, отецъ, окружающая среда — все благообразно и нравственно по наружности. Но развѣ и Софья по наружности не нравственна? Она ничѣмъ не высказываетъ своей любви къ избранному,—она и избрала его, можетъ быть, потому, что это человѣкъ домашній, съ которымъ все можетъ быть шито и крыто и, какъ видимъ, скрываетъ все очень хорошо: любовныя встрѣчи назначаетъ ночью и не только дверь запирается для этого, но и становится на часы предан-

ная горничная. Слѣдовательно, почтенный Павелъ Аванасевичъ напрасно кричить на Софью:—примѣръ не пропасть даромъ,—и дочка его хоть и рискуетъ нѣсколько (нельзя же требовать въ 17 лѣтъ большаго благоразумія и осторожности!), но наружною нравственностью весьма дорожитъ. Затѣмъ, что еще можно сказать о Софьѣ? Да красивая московская барышня,—и ничего болѣе! Конечно, по свѣтскому уставу, назначеніе всякой барышни вообще и московской въ особенности — выйти хорошо замужъ и для этого уловлять въ свои сѣти жениха, пріятнаго во всѣхъ отношеніяхъ, но

Любови всѣ возрасты послушны

и мы не бросимъ камня осужденія въ хорошо развитую 17-ти-лѣтнюю красавицу, которая, прежде замужества, пробуетъ силы, такъ сказать *in partibus infidelium*. Но „мѣрею достоинства женщины можетъ быть мужчина, котораго она любитъ“, сказалъ Бѣлинскій. Кто же этотъ мужчина, этотъ избранный Софьи, для котораго она рискуетъ своей доброй славой?

Молчалина знаетъ всякій и распространяться о немъ нечего:—это нравственный лакей, самаго лакейскаго сорта, сказали бы мы, если-бы не боялись обидѣть всѣхъ порядочныхъ лакеевъ. Но... бывали, говорить, случаи, что наши прабабки, запертыя въ тере-

махъ, наши бабки, жившія однѣ въ деревенской глуши, снисходили и до смертныхъ, стоявшихъ на общественной лѣстницѣ не выше запятокъ. Да и у насъ ли однихъ? Конечно, въ этомъ случаѣ у бѣдныхъ женщинъ не доставало силы противиться побужденіямъ чисто физическимъ, но виноваты ли онѣ, если требованія общества такъ сложились, что въ то время, когда молодые люди отдають свои лучшія силы горничнымъ, или женщинамъ гораздо худшаго ремесла, — на дѣвушку, полную жизни и здоровья падаетъ неизгладимое пятно за незаконную связь не только съ человѣкомъ низшаго общественнаго слоя, но и со всякимъ мужчиной!

Однако же, въ наше время повѣрки общественныхъ мнѣній, справедливость требуетъ сказать, что и съ чисто физиологической стороны женщина должна быть гораздо разборчивѣе въ своемъ выборѣ, чѣмъ мужчина, ибо вліяніе развитости родителей на способности ребенка уже достаточно доказано новѣйшими наблюденіями. Смотри на вопросъ съ этой точки зрѣнія — мужчина при связи своей съ ниже его по нравственному развитію стоящей женщиной оказываетъ на происшедшаго отъ этой связи ребенка благотворное вліяніе — онъ его возвышаетъ до себя; женщина же напротивъ при связи съ менѣе ея развитымъ мужчиной унижаетъ, низводитъ качество своего плода. Такимъ образомъ, установившееся мнѣніе свѣта — болѣе строгое

къ женщинѣ, нежели мужчинѣ, имѣть касательно ея выбора свое оправданіе и право.

„Предразсудокъ — онъ обломокъ старой правды“, сказалъ намъ Гамлетъ-Баратынскій и наука въ этомъ случаѣ подтверждаетъ то, что кажется предубѣжденіемъ. Поклонники установившейся нравственности, можетъ быть, сочтутъ съ нашей стороны дерзостью даже и разборъ такихъ общепринятыхъ, патентованныхъ и привилегированныхъ понятій, какъ тѣ, которыхъ мы коснулись, но по крайней мѣрѣ, они отдадутъ намъ справедливость, что мы относимся къ этимъ понятіямъ добросовѣстно и безъ предубѣжденія. И такъ, Софья Павловна погрѣшила не только противъ условныхъ общественныхъ понятій, избравъ предметомъ своей склонности Молчалина, человѣка какого-бы то ни было класса, но самого низкаго развитія, — она погрѣшила и противъ требованій болѣе разумныхъ и основательныхъ. Если она жива — а мы въ этомъ не сомнѣваемся, да и каждому до днесь случается встрѣтиться съ Софьями Павловнами, — то она не можетъ сказать, что мы грешимъ противъ нее тѣми истрепанными „благородными“ фразами и съ тѣмъ жаромъ, которыми „о честности высокой говорить“ извѣстный ея знакомецъ Репетиловъ, и должна будетъ согласиться, что мы стараемся смотрѣть покойно и безпристрастно. Но какъ ловкая барышня, она, конечно, возразить, что мы говоримъ „Богъ знаетъ о чемъ“, что

она любила Молчалина весьма чисто, и если и имѣла неосторожность заператься съ нимъ по ночамъ, то занималась тамъ дѣлами самаго невиннаго свойства. Мы однакоже очень удивимъ Софью Павловну Фамусову и другихъ Софій Павловнъ, если скажемъ, что обстоятельство, которое она приводитъ въ свое оправданіе, въ нашихъ глазахъ еще болѣе обвиняетъ ее, если мы ей отвѣтимъ: вы тѣмъ болѣе виноваты, что ваша любовь была, какъ вы говорите, самаго невиннаго сорта. Дѣйствительно, если бы м-лле Фамусова не сладила съ побужденіями чисто матеріальнаго свойства и отдалась хотя бы Молчалину, — мы бы пожалѣли объ ней и пожалѣли о тѣхъ условіяхъ, которыя помѣшали ея болѣе свободному и разумному выбору, — по нѣтъ! Она сладила и борется успѣшно съ этими побужденіями, — она прикрываетъ и полуудовлетворяетъ ихъ общеніями чисто нравственнаго свойства. Но съ кѣмъ-же бесѣдуетъ и толкуетъ, чѣмъ обществомъ наслаждается она? — Молчалина, этого прототипа подлости, пронирилости и тупоумія! Молчалинъ, въ ослѣпленіи чувственнаго порыва, могъ быть допущенъ, какъ любовникъ неопытной дѣвушки; — его, по выраженію Чацкого, на это станетъ и можетъ къ тому же онъ былъ красивый мужчина, но Молчалинъ — предметъ любви, ограничивающейся умственнымъ общеніемъ, Молчалинъ, воплощеніе нравственнаго идеала дѣвушки, это позоръ и безобразіе, это — паденіе, ниже котораго мы ничего

не можемъ придумать! О любовницѣ Молчалина мы бы пожалѣли, влюбленную въ Молчалина мы презираемъ! Посмотримъ-же, каковы должны быть наслѣдственные качества, развитіе и строй окружающаго общества, которые низводятъ дѣвушку до такого унижительнаго ничтожества.

Природными качествами Софья Павловна уродилась въ мать; Фамусовъ самъ, въ минуту огорченія, выразился, что

Ни дать, ни взять, она

Какъ мать ея, покойница жена.

Бывало я съ дражайшей половиной

Чуть врозь:—ужъ гдѣ нибудь съ мужчиной.

Нравственными-же взглядами, судя по ея выбору, наградила ее почтенный родитель. Она растетъ вмѣстѣ съ умнымъ, бойкимъ и способнымъ мальчикомъ Чацкимъ и между ними начинается дѣтская любовь. Но мальчику, едва онъ обратился въ юношу, показался душень и тѣсенъ этотъ домъ и онъ вырвался изъ него. Софья остается съ мадамъ Розье и отцемъ и развивается подъ благотворнымъ вліяніемъ наемной француженки, учителей, — „числомъ поболѣе, цѣною подешевле“ — и дорогого родителя. Влекомый возобновившимся чувствомъ Чацкій, ставъ на свои ноги, возвращается къ Софьѣ „влюбленнымъ, взыскательнымъ и огорченнымъ“, и мы охотно вѣримъ послѣднимъ эпи-

тетамъ, потому что не нужно быть очень требовательнымъ, чтобы остаться недовольнымъ обстановкою и развитіемъ, въ которыхъ онъ нашелъ свою возлюбленную. Онъ уѣзжаетъ странствовать, учиться а дѣвушка, кончившая весьма необширный курсъ наукъ, брошенная гувернанткою, сманеной за лишнихъ 500 рублей, остается со вдовцемъ родителемъ полновластною хозяйкою. Въ этомъ домѣ живетъ чиновникъ и нахлѣбникъ ея отца, вытащенный имъ по его выраженію изъ грязи — Молчалинъ, по остающійся вполне грязнымъ въ нравственномъ отношеніи. И вотъ, дѣвушка, въ ожиданіи жениха, вздумала заняться этою дрянью. Каковы должны быть скука, бездѣлье, уровень понятій, нравственное развитіе дѣвушки, чтобы ей пришло въ голову заняться подобнымъ господиномъ? Мы говоримъ, ей пришло въ голову, потому что Молчалинъ, конечно, въ этомъ нисколько не виноватъ; онъ не смѣлъ поднять глаза на дочь своего начальника, онъ зналъ, что любовь съ нею не доставитъ ему ничего, кромѣ хлопотъ и можетъ кончиться изгнаніемъ по шеѣ въ старую грязь. Но и противиться Софѣ онъ не смѣетъ; онъ любитъ ее, какъ справедливо выразился „по должности“ и ни минуты не забывается:

Возьметъ онъ руку, къ сердцу жметъ.

Изъ глубины души вздохнетъ;

Ни слова вольнаго и такъ вся ночь проходитъ

Рука съ рукою и глазъ съ меня не сводитъ,

повѣствуетъ Софья своей горничной, которая не удержалась, чтобы не расхохотаться надъ такимъ препровожденіемъ времени, потому что, дѣйствительно, глупѣе ничего придумать нельзя... Софья командуетъ, Софья назначаетъ свиданія и ей, конечно, пришлось и вызвать Молчалина на эту любовь. Все это показываетъ тайный полуразвратъ, смѣлость и совершенное отсутствіе всякихъ строгихъ понятій о требованіяхъ жизни въ семнадцатилѣтней дѣвушкѣ. А посмотрите, какъ она въ тоже время ловко и съ какимъ тактомъ держитъ себя въ свѣтѣ, какъ умѣла отклонить навязчивость и даже одурачить такого человѣка, какъ Чацкій! Чѣмъ она не „прекрасная“, въ свѣтскомъ смыслѣ, дѣвица, чѣмъ не отличная невѣста? Правда, любовь, или, лучше сказать, развратное занятіе, — потому что совѣстно называть любовью подобныя отношенія къ подобному человѣку, — какъ они ни скрыты отъ свѣта, не могли не отозваться на образѣ мыслей Софьи. Мы очень невысокаго мнѣнія о томъ нравственномъ состояніи, въ которомъ была она до знакомства съ Молчалинымъ, но не можемъ себѣ представить, чтобы у молоденькой дѣвочки, хотя бы воспитанной какъ Софья, сложился такой идеалъ мужчины, будущаго возлюбленнаго и мужа, какимъ восхищается потомъ Софья. Любовь, говорятъ, слѣпа, она не видитъ, или скрашиваетъ недостатки въ любимомъ человѣкѣ, но послушайте какъ сама Софья отзывается о Молчалинѣ:

Смотрите, дружбу всѣхъ онъ въ домѣ приобрѣлъ;
При батюшкѣ три года служить;
Тотъ часто безъ толку сердитъ
А онъ безмолвіемъ его обезоружить,
Отъ доброты души простить.
Веселостей искать бы могъ —
Ничуть: отъ старичковъ не ступить за порогъ
Мы рѣзвились, хохочемъ —
Онъ съ ними цѣлый день: засядетъ — радъ не радъ —
Играетъ...
Конечно, нѣтъ въ немъ этого ума,
Что геній для иныхъ, а для иныхъ — чума

весьма зло замѣчаетъ она Чацкому

Да этакій-ли умъ семейство осчастливить

Чудеснѣйшаго свойства

Онъ наконецъ уступчивъ, скромнѣе, тихъ,

Въ лицѣ ни тѣни безпокойства

И на душѣ проступковъ никакихъ...

Не правдали, что подобный идеалъ могъ быть
подготовленъ; но не могъ сложиться даже у пустѣйшей
свѣтской барышни, если-бы растлѣвающее общеніе съ
Молчалинымъ не низвело ее постепенно до него. Она
могла не любить Чацкаго, она совершенно справедливо
замѣтила, что такой умъ какъ его не общается се-
мейнаго счастья, и счастья особенно по ея требованію,
она могла думать и прежде, что

Если любить кто кого

Зачѣмъ ума искать и ѣздить такъ далеко?

Но чтобы снизойти и не только примириться, но оправдывать и полюбить такое ничтожество, какъ Молчалинъ, даже въ ея прикрашенномъ изображеніи, — до такой степени ничтожества свѣтской и сколько-нибудь воспитанной дѣвушки можно дойти только постепеннымъ паденіемъ. Причиной этого паденія, причиной ея любви къ Молчалину, были, какъ мы видимъ, родовыя наклонности, воспитаніе и совершенное бездѣлье и скука. Дѣвушка въ подобномъ положеніи, если нѣтъ никого подъ рукою, начинаетъ развлекаться даже такимъ нравственнымъ лакеемъ, какъ Молчалинъ, увлекается далѣе и далѣе и наконецъ. начавъ отъ скуки, отъ неумѣренныхъ занятій и серьезными стремленіями физическихъ побужденій, она падаетъ до того уровня, на которомъ мы находимъ Софью. А между тѣмъ, при этой низости понятій и совершенномъ нравственномъ растлѣніи, какъ остался невредимъ весь наружный свѣтскій блескъ! Какъ Софья кажется по наружности нравственно чиста и строга, какъ ее уважаютъ въ обществѣ, какъ всѣ довольны ея развитіемъ, умомъ и тактомъ. И даже самъ Чацкій, выслушавъ ея сужденія о Молчалинѣ, принимаетъ ихъ за иронію и шутку. Таковы гниль, ничтожество и развратъ внутри, и таковы отношенія, такой кругъ дѣятельности — если только была въ немъ кака-нибудь дѣятельность — и воз-

зрѣнія ея общества, что эта гниль, даже не скрываема (кромѣ тайныхъ свиданій), ничѣмъ не рѣжетъ глазъ и никого, кромѣ Чацкаго, не поражаетъ. Вотъ каковы были развитіе, мнѣнія, занятія свѣтской дѣвушки и требованія относительно ея общества во времена, изображенныя въ „Горѣ отъ ума“ и въ кругу, имъ описанномъ. Затѣмъ, предоставляемъ наблюдательнымъ свѣтскимъ людямъ судить, какъ далеко отъ Софьи Павловны ушла съ тѣхъ поръ въ своемъ развитіи, взглядахъ и образѣ дѣятельности современная дѣвушка подобнаго круга.

Но очередь нашъ былъ бы не положить и причины, руководившія Софьей Павловной въ ея выборѣ, не всѣ исчерпаны, если-бы мы не упомянули объ одной чертѣ, ясно проглядывающей въ женскихъ характерахъ, выведенныхъ въ замѣчательнѣйшей общественной комедіи.

Читатель улыбнется, если мы скажемъ, что Софья Павловна, какъ и другія грибоѣдовскія дамы и дѣвицы, стремятся къ тому, что нынѣ называютъ эмансипаціей, стремятся къ женской свободѣ и независимости.

Да, это несомнѣнно. И то еще замѣчательнѣе, что женщины того времени были гораздо требовательнѣе нынѣшнихъ. Нынче женщина мечтаетъ, какъ о высшемъ идеалѣ, — о равенствѣ съ мужчиной: тогдашняя женщина этимъ недовольствуется. Она хочетъ господ-

ствова надъ мужчиной и даже достигаетъ этого. Средство ея употребленное очень просто: она избираетъ мужа изъ людей тѣхъ свойствъ, которые снѣло пользуются на заряженную пушку, но противъ мало-мальски настойчивой и ловкой женщины опускаютъ руки. Примеровъ такихъ мужей мы видимъ нѣсколько въ комедіи: таковъ бывшій гусаръ и хватъ Платонъ Михайловичъ Горичъ, котораго хорошенькая жена въ полгода превратила въ тряпку. Таковъ князь Тугоуховскій, до глубокой старости состоящій на посылкахъ у жены. Чацкий очень хорошо подмѣтилъ этотъ способъ освобожденія, придуманный московскими женщинами, сказавъ что:

Мужъ мальчикъ, мужъ слуга изъ жениныхъ пажей —
Высокій идеалъ московскихъ всѣхъ мужей.

И очень можетъ быть, что Софья Павловна, занявшись отъ нечего дѣлать Молчалинымъ, впоследствии стала подумывать о немъ, какъ о мужѣ, именно потому, что онъ безъ хлопотъ обѣщалъ олицетворить московскій идеалъ мужа-лакея и выкупалъ этимъ недостатки рожденія, состоянія и проч. Очень можетъ быть, что сбудется рѣченное Чацкимъ: Софья помирится съ Молчалинымъ, примирится съ нимъ и Фамусовъ, согласится на бракъ его съ дочерью, будетъ общими съ ней силами выводить въ люди зятя и, судя по качествамъ Молчалина, нѣтъ сомнѣнія, легко въ этомъ

успѣть и въ Москвѣ будетъ одной счастливой парой и одной свободной женщиной болѣе!

Такова свѣтская дѣвушка и ея первыя патриархальныя попытки къ господству и освобожденію, которыя мы видимъ въ нашей литературѣ.

II.

ТАТЬЯНА.

Изъ великосвѣтскаго московскаго круга мы переносимся въ деревенскій домъ помѣщика средней руки. Старикъ-отецъ умеръ, но у него осталась вдова хозяйка, женщина опытная, и двѣ дочери. Старшая дочь — румяная, простодушная, веселая и бѣлокурая Ольга — ничѣмъ не замѣчательна. Не такова сестра ея Татьяна:

Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лѣсная боязлива,

она тотчасъ представляется намъ одной изъ тѣхъ темно-русыхъ, блѣднлицхъ (но не болѣзненныхъ) русскихъ дѣвушекъ, которыя въ чувствахъ и жизни шутить не любятъ. И дѣйствительно, трудно себѣ представить болѣе вѣрный и цѣльный типъ русской деревенской дѣвушки, чѣмъ Татьяна. Ее воспитывала не

мадамъ Розье, а крѣпостная няня. Оглядывая безстрастнымъ взглядомъ это вымирающее племя нашихъ старинныхъ нянекъ и не позволяя себѣ увлекаться сердечными влеченіями, сохраненными съ дѣтства, мы должны сознаться, что съ строгой точки зрѣнія эти воспитательницы представляютъ много уродливаго и вредно вліяющаго на понятія ребенка. Онѣ прививаютъ ему тѣмъ предразсудковъ, развиваютъ своими разсказами воображеніе на счетъ ума и, что всего хуже, съ издѣтства прививаютъ ему вмѣстѣ съ религіознымъ фетишизмомъ и нетерпимостью крайнее и слѣпое преклоненіе передъ всякимъ установившимся взглядомъ и всякимъ авторитетомъ. Но несмотря на это, мы бы скорѣе отдали на руки своихъ дѣтей — если-бы они были у насъ, — этимъ крѣпостнымъ старухамъ, нежели вручили ихъ какой-нибудь сухой и бездушной мадамъ Розье, а сравнивъ понятія нашихъ тогдашнихъ нянекъ съ понятіями большинства тогдашняго времени, мы рѣшительно считаемъ себя на сторонѣ нянекъ. Положимъ, ихъ правила и мнѣнія были вредны, но развѣ не въ такой же степени пошлы и вредны были понятія и примѣры окружающаго большинства? Развѣ тогдашній гувернеръ-нѣмецъ не развивалъ бы въ такой же степени воображенія ребенка и не готовилъ изъ него филистера? Развѣ французъ не постарался бы сдѣлать изъ него самоувѣреннаго самохвала и глупаго резонера? Въ русской нянѣкѣ мы находимъ по крайней мѣрѣ

нѣкоторыя черты, во многомъ выкупающія невѣжество и недостатки ея времени и положенія. Эти няньки были простодушны, онѣ были честны и искренни. Припомните этотъ прелестнѣйшій по простотѣ и естественности разговоръ старухи-няни Татьяны съ ея взрослой и влюбленной воспитанницей, которая спрашиваетъ, была ли она влюблена? Или возьмите это добродушіе, съ которымъ она выслушиваетъ упреки нетерпѣливой и стыдливой дѣвушки, совѣщающейся назвать сосѣда, къ которому посылается письмо:

Какъ недогадлива ты няня!

— Сердечный другъ, ужъ я стара!

Стара; тупѣть разумъ, Таня;

А то бывала я востра:

Бывало, слово барской воли...

Но дѣвушкѣ не до того, чтобы слушать старческую болтовню: она называетъ Онѣгина. И вмѣсто упрековъ, выговоровъ и бесполезныхъ нравственныхъ поученій, какъ бы сдѣлала иная гувернантка при этомъ признаніи, — что говорить старуха?

Ну, дѣло, дѣло!

Не гнѣвайся, душа моя,

Ты знаешь, — непонятна я...

Да что-жъ ты снова поблѣднѣла?

Неправда-ли, сколько тутъ гуманности и состра-

данія?... Эта старуха, которая могла бы насплетничать и передать все барынь, или, по крайней мѣрѣ, наворчать и наговорить сотни глупыхъ совѣтовъ и наставленій, чувствуетъ, что не до того ея бѣдной Танѣ; она сама не знала любви, но она сердцемъ понимаетъ всю законность этого чувства, чувствуетъ искренность страданія своей питомицы и себя же винить въ непонятливости, неумѣвшей угадать съ полслова желанія дѣвушки. Затѣмъ сравнимъ эту няню съ самой Лариной, которая сначала

. . . писывала кровью
Она въ альбомы цѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью
И говорила на распѣвъ.

Потомъ, выйдя замужъ, и еще по принужденію, стала управлять мужемъ, звать Акулькой прежнюю Алину, ѣздить по работамъ,

Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила въ баню по субботамъ,
Служанокъ была осердясь.

И еще, въ довершеніе блаженства

Все это мужа не спросясь!

Сравните, наконецъ, ея правила съ правилами, внушенными Софьѣ Павловнѣ ея m-me Розье,—и не-

ужели вы не согласитесь, что эта старуха-няня была лучше и человечѣе ихъ всѣхъ, и что это было единственное лицо во всей барской семьѣ и во всемъ барскомъ домѣ, относящееся къ ввѣренному ей ребенку какъ къ другу, безъ угрозы и застращиванья вышнихъ, безъ лести и потворства низшихъ? И мы поймемъ тогда то нѣжное и дружеское чувство, которое на всю жизнь оставалось у взрослыхъ воспитанниковъ къ своимъ нянямъ, мы поймемъ искреннюю теплоту этихъ прелестныхъ строевъ возвратившагося изъ деревенской ссылки Пушкина, обращенныхъ имъ къ своей нянѣ:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя,
Одна въ тѣни лѣсовъ дубовыхъ
Давно, давно ты ждешь меня, и проч.

Подъ вліяніемъ такой-то старухи-няни сложилась Таня, какъ складываются сотни ей подобныхъ дѣвушекъ. Но Богъ вѣсть, подъ вліяніемъ какихъ причинъ явился у Татьяны задатокъ строгаго отношенія къ жизни, — и вотъ она растетъ дикаркой, не любитъ игры и женскихъ работъ, — этихъ кошельковъ и канвовыхъ подушекъ, которыми деревенскія барышни убиваютъ время и награждаютъ кузеновъ. Разумѣется, все это черты отрицательныя. Мы видимъ только, что дѣвочка не мирится съ мелочью и дразнами, которыми обыкновенно занимались ея сверстницы, но ни ея

крѣпостная нянька, ни родительница, которая въ молодости умѣла только радиться, носить узкій корсетъ и русскій Н, какъ N французскій произносить въ носъ—не могли наставить ее, дать ей уму болѣе здоровую пищу и дѣятельности — полезное направленіе. Слѣдовательно отъ деревенской Тани нечего болѣе и требовать; она любитъ читать, но читать ей кромѣ романовъ нечего и она къ нимъ пристращается. Вображеніе играетъ, сердце требуетъ любви, но она не любитъ еще, ей не нравятся ни

Гвоздинъ, хозяинъ превосходный
Владѣлецъ нищихъ мужиковъ...

ни узнанный франтикъ Пѣтушковъ, ни сорви-голова Буяновъ; она не Софья Фамусова, которая любитъ Молчалина, потому что ей хотѣлось любить, а любить его было всего сподручнѣе; Тана ждетъ „человѣка“ и когда этотъ современный человѣкъ является, она вся съ нагорѣвшимъ сердцемъ сразу отдается ему.

Онѣгинъ былъ для своего времени, какъ мы и старались доказать, человѣкъ изъ лучшей дюжины; если прибавить къ этому его свѣтскость, образованность, умѣнье нравиться, то увидимъ, что такой человѣкъ въ деревенской глуши, среди Харликовыхъ, Флиновыхъ и Пѣтушковыхъ, — былъ феноменомъ и могъ быть избранникомъ любой дѣвушки съ гораздо обширнѣйшимъ, чѣмъ въ деревенской Танѣ, развитіемъ и правомъ на

требовательность. И вотъ, деревенская дѣвушка встрѣтивъ поняла и страстно полюбила Олѣгина. Бѣло не помнить этихъ прелестныхъ сценъ томленія отъ любви неопытной застѣчивой дикарочки, которая не находить себѣ мѣста, не знаетъ, что дѣлать, кому вылить свою душу, призываетъ свою старуху-няньку, спрашиваетъ ее любила ли она и, наконецъ, когда та, замигивъ волненіе и тревогу своей питомицы, увѣряетъ ее, что она больна, Татьяна робко признается ей — „я.... знаешь, няня.... влюблена....“ И выговоривъ это, накипѣвшее на душѣ признаніе, не можетъ удержаться, чтобы нѣсколько разъ не повторить: „я влюблена.... я влюблена!..“

И вотъ эта застѣчивая дикарка, сознавъ свою любовь, не зная что дѣлать съ ней, подъ вліяніемъ искренняго молодого чувства, рѣшается, — страшно сказать! — рѣшается первая признаться въ любви, рѣшается писать Олѣгину. Въ нашъ вѣкъ, когда многія дѣвушки насильно ломаются въ запертыя для нихъ двери университетовъ и служебныхъ мѣстъ, — рѣдкія и изъ этихъ смѣлыхъ рѣшаются на первое признаніе, да еще такъ прямо, откровенно и письменно; но для того времени это былъ подвигъ и такой необыкновенный подвигъ, что авторъ тщательно старается оправдать его передъ строгими моралистами. Тѣмъ дороже отнѣтитъ намъ этотъ смѣлый, честный порывъ тогдашней русской, да еще застѣчивой дѣвушки; много надо

было горячаго чувства, искренности, смѣлости и отчасти, прибавимъ, — романтичности, чтобы рѣшиться на подобный подвигъ; за то мы не знаемъ ничего милѣе и симпатичнѣе этой дѣвушки, когда съ женственной стыдливостью она совершаетъ его:

Татьяна то вздохнетъ, то охнетъ,
Письмо дрожитъ въ ея рукѣ,
Оплата розовая сохнетъ
На воспаленномъ языкѣ,
Къ плечу годовкою склонилась,
Сорочка легкая спустилась
Съ ея прелестнаго плеча.

Занимается заря, наступаетъ утро, все просыпается, — ей все равно:

Она зари не замѣчаетъ,
Сидитъ съ поникшей головой
И на письмо не назираетъ
Своей печати вырѣзной

пока не приходитъ ея добрая старуха-няня и заставивъ, по своей безтолковости, разъяснить подробно въ чемъ дѣло, отправляетъ роковое признаніе съ своимъ внукомъ. Исходъ извѣстенъ и весьма правдивъ. Если бы Онѣгинъ былъ пустымъ фатомъ, онъ бы сдѣлалъ себѣ игрушку изъ любви деревенской дѣвушки и потомъ бросилъ ее; но въ немъ, несмотря на одолевавшую его скуку, достало честности, чтобы не шутить чувствомъ

романической провинциалки. Онѣгинъ счужѣлъ отгадать въ Татьянѣ такіе залаты строгаго отношенія въ жизни, которые при лучшемъ направленіи и развитіи могли бы сдѣлать изъ нея замѣчательно хорошую женщину. Онъ сразу предпочелъ Таню ея розовой сестрѣ, плѣнившей Ленскаго, и когда получалъ ея письмо, то можеть быть въ немъ дѣйствительно мелькнула мысль о женитбѣ и—хотя Онѣгинъ по положенію своему могъ бы сдѣлать гораздо лучшую партію, мы не имѣемъ права сомнѣваться, чтобы онъ не искренно говорилъ Танѣ:

Когда-бы жизнь домашнимъ кругомъ
Я ограничить захотѣлъ;
Когда-бъ мнѣ быть отцемъ, супругомъ
Пріятный жребій повелѣлъ;
Когда-бъ семейной картиной
Плѣнился я на мигъ единой,
То вѣрно-бъ крожъ васъ одной
Невѣсты не искалъ иной.
Но я не созданъ для блаженства...

прибавляетъ Онѣгинъ и рисуетъ печальную картину семьи, гдѣ мужъ, цѣня всѣ достоинства жены, не любитъ ее и тяготится своимъ положеніемъ.

Отчего-же, спросимъ мы, Онѣгинъ не созданъ для блаженства, отчего пріятный жребій не повелѣваетъ ему быть супругомъ и отцемъ, и онъ, ничѣмъ не связанный, ничего для себя въ предвидящій, не рѣшаетъ

ся ограничить свою жизнь домашнимъ кругомъ? На вопросъ этотъ стоитъ остановиться и именно здѣсь, при разборѣ жизни русскихъ дѣвушекъ, потому что начиная съ Онѣгина, мы видимъ цѣлый рядъ представителей молодого поколѣнія, которые какъ будто сговорившись, бѣгаютъ отъ женитьбы, какъ отъ чумы.

Онѣгинъ самъ этой боязни не понимаетъ и потому разъяснить ее должно: онъ думаетъ, что она происходитъ отъ его пресыщенности и разочарованія:

Мечтамъ и годамъ нѣтъ возврата

Не обновлю души моей....

говорить онъ, а между тѣмъ черезъ нѣсколько лѣтъ эта-же самая Татьяна обновляетъ его душу и возвращаетъ мечты до такой степени, что онъ влюбляется въ нее, какъ мальчишка. Дѣло въ томъ, что Онѣгина, какъ и всѣхъ послѣдующихъ литературныхъ героевъ, грызетъ немолчно червякъ сознанія своихъ невыполненныхъ обязанностей къ жизни: имъ хочется дѣлать что нибудь дѣльное, они чувствуютъ, что почти даромъ бременять землю и, вмѣстѣ съ тѣмъ, совершенно справедливо сознаютъ, что ограничить свою дѣятельность одними семейными заботами для нихъ было бы совершенно мало. Для нихъ жениться значило-бы отречься отъ всякой надежды на ту дѣятельность, о которой смутно мечтали они, примириться съ

пошлостью и плыть по теченіи. Вотъ причина, по которой они такъ боятся и думать о женитьбѣ, — и эта боязнь есть черта, много говорящая въ ихъ пользу. Человѣкъ установившійся, имѣющій ясно сознанную цѣль въ жизни, избравшій себѣ дѣло и имѣ весь занятый можетъ жениться: онъ видитъ въ женщинѣ не только женщину, но и подругу, которая бы помогала ему въ его же дѣлѣ, или по крайней мѣрѣ приняла на себя часть домашнихъ заботъ, для нея болѣе привычныхъ. Онѣгинимъ не нужна такая подруга: имъ нечѣмъ дѣлиться съ ней, у нихъ нѣтъ домашняго очага, нѣтъ дома, въ который желали бы они ввести хозяйку — жажда дѣятельности мѣшаетъ имъ гдѣ нибудь свить гнѣздо, установиться; у нихъ нѣтъ дѣла, они не сознаютъ его ясно и не видятъ его, они только томятся жаждой этого дѣла, и потому въ женщинѣ привыкли видѣть одну женщину, — они ищутъ ее только для любви, — но любовь не дѣло, а чувство и когда это чувство удовлетворено, то женщина имъ не нужна и связь съ нею остается только тягостью! Конечно, любовь иногда разгарается до страсти и охватываетъ всего человѣка, но и страсть проходитъ. Выдаютъ также и такіе люди, которые изъ любви дѣлаютъ для себя цѣль жизни, исключительное занятіе. Литература, еще недоразвившаяся до общественныхъ вопросовъ, любила заниматься исключительно этими любовныхъ дѣлъ мастерами и занималась ими до тѣхъ

только поръ, пока ея герои были одержимы страстью; какъ скоро страсть была удовлетворена женитьбой, или прекращалась катастрофой,—романъ кончался. Въ новѣйшихъ и болѣе серьезныхъ литературныхъ произведеніяхъ, конечно, безъ любви не обходится и не можетъ обойтись, потому что любовь есть одинъ изъ сильнѣйшихъ двигателей и, во всякомъ случаѣ, необходимое, всеѣмъ присущее и всеогрѣвающее чувство; но романы и люди, занимающіеся только одною любовью, и болѣе ничѣмъ, мало насъ нынѣ занимаютъ и дешево цѣнятся. Въ лучшихъ произведеніяхъ прошлой эпохи авторы тоже не занимались общественными вопросами, но инстинктъ художника невольно видѣлъ въ обществѣ это недостающее что-то, тревожившее его лучшихъ людей,—и они выражали этотъ вопросъ своего времени въ неяснившемся недовольствѣ своихъ героевъ. Онѣгинъ, надо отдать ему эту справедливость, не былъ, какъ мы уже замѣтили, специалистомъ по любовной части, но онъ былъ безъ дѣла, жизнь его сложилась пошле и онъ тяготился этой пошлостью.

Онъ могъ жениться только по любви, но какъ скоро любовь была бы удовлетворена и лишилась того острого и возбуждающаго свойства, которое придаютъ ей препятствія, — жена явилась бы для Онѣгина совершенно лишней обузой! Въ самомъ дѣлѣ, на что она была бы нужна ему, какъ подруга жизни? Человѣкъ съ независимымъ взглядомъ и неудовлетвореннымъ въ

то время, хотя смутно сознаваемыми побужденіями, — Онѣгинъ не могъ примириться съ той узенькой, семейной жизнью, которую представляла для него женитьба на Татьянѣ и онъ, съ поразительною правдою, рисуетъ ей ту жизнь, которая ожидала бы ихъ въ этомъ случаѣ:

Что можетъ быть на свѣтѣ хуже
Семьи, гдѣ бѣдная жена
Грустить о недостойномъ мужѣ
И днемъ и вечеромъ одна;
Гдѣ скучный мужъ, ей цѣну зная,
Судьбу, однакожъ, проклиная,
Всегда нахмуренъ, молчаливъ
Сердить и холодно ревнивъ.

„Таковъ я“, прибавляетъ онъ и совершенно вѣрно. И такъ, Онѣгинъ не могъ быть мужемъ, а между тѣмъ выборъ Татьяны былъ однимъ изъ лучшихъ. Что же выходить изъ этого? Лучшіе и достойнѣйшіе люди того времени могли быть и дѣйствительно были только пригодны въ любовники; они не годились и не хотѣли быть мужьями, а между тѣмъ весь складъ понятій и требованій общества казнить и до сихъ поръ дѣвушку, которая отдается мужчине, не оградивъ себя бракомъ, помѣщаетъ ее дѣтей въ разрядъ парій и смѣется надъ той, которая остается старою дѣвою! Что же оставалось дѣлать такой дѣвушкѣ, которая не

имѣла силы воли, чтобы идти на тяжелую борьбу съ общественными условіями, или не хотѣла ихъ нарушать? Вѣрность до гроба, разъ избранному? такъ называемая идеальная любовь? Что жъ, эта любовь была въ модѣ и если старыя, засохшія дѣвы весьма жалки и смѣшны въ жизни, то въ старыхъ романахъ ихъ безгрѣшная любовь пользовалась большимъ почетомъ. Но какая же институтка не знаетъ нынѣ, что всякая идеальная любовь есть только личина, подъ которою скрывается любовь естественная, т. е. матеріальная, что она возможна и терпима только какъ начало этой послѣдней любви, — ея юность и еще неясное сознаніе! Если же эта такъ называемая безгрѣшная любовь дѣлается сама цѣлью и удовлетвореніемъ, то она является въ самомъ дѣлѣ чувствомъ самымъ грѣшнымъ, какъ грѣшно и безнравственно все противоестественное, всякое раздраженіе, не имѣющее естественнаго исхода, раздраженіе ради раздраженія. Все это красиво въ слезливомъ романѣ, а не въ жизни. Да и наконецъ, глядя на вещи съ разумной стороны, не глупо-ли мечтать и думать весь вѣкъ о человѣкѣ, который можетъ быть о насъ и не думаетъ и которому, во всякомъ случаѣ, отъ этихъ мечтаній — кромѣ маленькаго удовлетворенія скверненькаго тщеславія—ни тепло ни холодно. Обыкновенно, если мы въ жизни задумали какое-нибудь дѣло и видимъ, что обстоятельства такъ сложились, что дѣлають его недостижимымъ, то, вмѣсто того,

чтобы весь остальной вѣкъ сокрушаться о недостигнутомъ, вздыхать по немъ и таять, какъ глупый рыцарь Тогенбургъ подъ окномъ своей возлюбленной, всякій здравомыслящій человѣкъ постарается найти другое дѣло и другую цѣль и ей отдаться. Это послѣднее соображеніе заставляетъ влюбленную несчастливо дѣвушку, сдѣлать всѣ усилія, чтобы забыть неудачный выборъ и ждать, пока чувство ее потухнетъ и другой (какъ уланъ, затмившійся Ольгѣ Лариной Ленскаго) понравится ей и захочетъ получить ее на законномъ основаніи. Но когда дѣвушка полюбитъ, особенно въ первый разъ, она убѣждена, что полюбила на весь вѣкъ и никогда никто другой не въ состояніи замѣнить перваго; да у дѣвушекъ, со строгимъ складомъ, какъ Татьяна, такъ и бываетъ—какъ же при этомъ-то убѣжденіи ждать другаго! Да и захочетъ-ли этотъ другой еще жениться на ней? Вѣдь Онѣгину Татьяна нравилась и онъ, повидимому, не имѣлъ никакихъ причинъ отказаться отъ нее—а отказался-же! И если, какъ мы замѣтили, въ извѣстное время существуютъ причины, которыя всѣмъ людямъ извѣстнаго закала иѣшаютъ жениться, — гдѣ же искать себѣ другаго? Слосемъ ниже и похуже? Хороша необходимость! Дѣвушкѣ остается, наконецъ, или отказаться навсегда отъ счастья любви и материнскихъ радостей, или выйти по расчету замужъ и отнестись самымъ равнодушнымъ, чтобы не сказать циничнымъ, образомъ къ извѣстнымъ

отношеніямъ. Какое печальное и безвыходное положеніе! Наша героиня не избѣгла общей участи. Условія сложились такимъ роковымъ образомъ, что Татьяна того времени, любившія Онѣгинныхъ, должны были молча страдать и навѣки погребсти, или равнодушно отдать нелюбимому человѣку свои первыя, самыя чистыя ласки: въ нравственномъ отношеніи одно называется самокастрированіемъ, другое самоуниженіемъ, въ біологическомъ — порчею породы, въ свѣтскомъ — преклоненіемъ предъ общественными условіями. Но какъ оно ни назывался, оно должно было случиться и случилось съ Татьяной. Онѣгинъ уѣзжаетъ и Татьяна лишается счастья даже видѣть предметъ своей первой любви. Впрочемъ, разлука, какъ лекарство отъ мучительной болѣзни, называемой „несчастливая любовь“, — есть средство хоть и крутое, но самое дѣйствительное. Оно отозвалось такъ и на Татьяну; вскорѣ мы видимъ, что страданія ея изъ острыхъ перешли въ хроническія; она груститъ, но посѣщенія дома Онѣгина развлекаютъ ее, чтеніе его книгъ, раздумываніе надъ мѣстами, остановившими на себѣ вниманіе Онѣгина, отми-

То краткимъ словомъ, то крестомъ,
То вопросительнымъ крючкомъ

развиваетъ ее и расширяетъ кругозоръ провинціалки. Она начинаетъ лучше понимать Онѣгина и причины

его хандры и апатіи. Поэтъ до такой степени считалъ ее развившеюся отъ этихъ уединенныхъ думъ, что спрашиваетъ себя:

Ужель загадку разрѣшила?

Ужели слово найдено?

Но мы теперь, на основаніи данныхъ, представляемыхъ послѣдующею повѣстью Татьяны, можемъ сказать, что Татьяна не разрѣшила загадки и не нашла слова, потому что эта задача не была подъ силу тогдашней женщины, да и самъ Онѣгинъ этого слова не нашелъ, а бродилъ около него и мучился лишь его смутнымъ сознаніемъ. Книги, т. е. романы, которыя Татьяна читала, тоже едва-ли благотѣльно подѣйствовали на нее: онѣ, можетъ быть, выковали въ ней то самообладаніе, то спокойное воззрѣніе на свѣтъ, которыя мы видимъ въ Татьянѣ впоследствии, — но, какъ мы тоже увидимъ, не научили ее яснѣе понимать вещи. Въ то время, когда Татьяна мечтала о своемъ обожаемомъ, читала его книги и размышляла надъ ними, благоразумная мать заботилась о перемѣнѣ, замѣчаемой въ дочери и отыскивала средство все поправить. Средство это на семейномъ совѣтѣ было найдено: Татьяну надо *пристроить*, надо выдать ее замужъ. Средство было выбрано самое обыкновенное и, по тогдашнему, вѣрное. Когда дѣвушка выбита чѣмъ-то изъ обычной колеи, — очень естественно, надо постараться ее вправить въ

нее, надо ей въ самомъ дѣлѣ открыть и облегчить дорогу въ какому-нибудь выходу. Для дѣвушки въ то время былъ одинъ выходъ—замужство и дѣйствительно, это выходъ единственный, если безъ него нельзя ни отдаться любимому человѣку, ни приобрести какое-нибудь положеніе, хотя „независимаго“ положенія ни дѣвушекъ, ни женщинъ имѣть тогда не полагалось. Дѣвушекъ, сбѣгъ которыхъ дома былъ неуспѣшенъ, какъ индѣекъ, куръ и другую живность, возили обыкновенно зимой въ Москву, „на ярмарку невѣстъ“.туда повезли Татьяну и тамъ ей находится покупатель,—важный, богатый генералъ,—партія въ житейскомъ отношеніи самая выгодная! Чего же лучше? Татьяна только не любитъ жениха, да и не можетъ любить изувѣченнаго старика, котораго видитъ въ первый разъ, — но что-же дѣлать! Масса смотритъ на бракъ съ чисто практической точки зрѣнія и съ своей стороны совершенно права: бракъ въ ея глазахъ не соединеніе двухъ любящихся голубковъ,—это союзъ на всю жизнь людей, которые хотятъ вить общее гнѣздо, раздѣлять тяготы другъ друга, родить и воспитать дѣтей—своихъ кормильцевъ старости и будущихъ наследниковъ. Это дѣло для дѣвушки до такой степени считается житейски необходимымъ, что Парина готова не только разстаться съ своей любимой дочерью и на старостъ дѣтъ остаться одной въ деревнѣ, но со слезами и заклинаніями молить ее отдаться какому-то не-

вѣдомому генералу, который изъявилъ желаніе жениться на ней. Для такого дѣла съ практической точки зрѣнія нужно прежде всего соблюденіе условій, требуемыхъ холоднымъ разсудкомъ: равенство развитія, возрѣтій и общественнаго положенія; любовь сильная, доходящая до страсти и туманиющая разсудокъ не только не нужна для него, но она положительно вредна, потому что отнимаетъ возможность спокойнаго и здраваго сужденія при взаимномъ выборѣ, или разумномъ отправленіи семейныхъ обязанностей: доказательство—браки съ похищеніемъ, совершаемые въ ранней молодости, или по страстной любви, которые рѣдко бываютъ счастливы. Все это очень хорошо придумано и совершенно удобно было бы для жизни, если-бы отъ брака были отняты, или, по крайней мѣрѣ, не были въ немъ обязательны тѣ отношенія, которыя только тогда нравственно-законы и естественны; когда между соединяющимися существуетъ взаимное влеченіе, а любовь къ постороннему не дѣлаетъ эти отношенія въ высшей степени противными и унижительными для одного изъ соединившихся. Но эти отношенія остаются въ его основѣ и въ этомъ смѣшеніи рѣдко совместимыхъ и совершенно разнородныхъ требованій лежитъ весь трагизмъ иной брачной жизни. Въ совѣтѣ и заклинаніяхъ старухи Лариной, которая умоляетъ дочь на замужство съ старикомъ, ей, можетъ быть, противнымъ, мы находимъ подтвержденіе — если-бы нужно было под-

твержденіе вещи и безъ того общеизвѣстной, — что русское общество совершенно жертвуетъ въ пользу практичности личными чувствами дѣвушки, даже если бы мужъ былъ ей противенъ и вовсе не считаетъ ея склонности для этого необходимою: „стерпится-слюбится!“ говоритъ оно. Такой взглядъ существуетъ, впрочемъ, не у насъ однихъ; у французовъ бракъ есть просто торговая сдѣлка. Но свѣтъ хорошо сознаетъ недостатки своихъ обычаевъ, онъ сочинилъ поговорки, что „чортъ силенъ“ и „любовь зла“. Потому, подчинивъ бракъ чисто матеріальнымъ требованіямъ, онъ смотритъ сквозъ пальцы на изъяны, которые дѣлаетъ въ послѣдствіи чувство въ заключенныхъ такимъ образомъ союзахъ: явная измѣна мужей и едва прикрытая женъ, житье на разныхъ половинахъ случаются сплошь и рядомъ и не производятъ особыхъ волненій. Если-бы старуха Ларина узнала, что ея Татьяна, встрѣтивъ снова Онѣгина, наставила съ нимъ своему генералу такія украшенія, которыхъ онъ на полѣ сраженія получить не могъ, она бы сдѣлала видъ, что этого не замѣчаетъ, или, пожуривъ для приличія дочь, сама бы нашла ей извиненіе въ старости генерала и пр., да и не одна мать такъ бы отнеслась, а все общество. Не то мы видимъ въ Англіи, гдѣ дѣвушкѣ предоставляется полная свобода выбора по чувствамъ, но за то строже требуется и соблюденіе вѣрности. Наше крестьянство смотритъ также цинично на извѣстныя отноше-

нія, какъ и высшее общество, но менѣе его снисходительно къ женщинамъ; оно имѣетъ въ первомъ случаѣ больше извиненія, потому что жизнь полная нужды, лишенія и заботъ почти объ одномъ кускѣ хлѣба, подавляетъ развитіе нѣжныхъ чувствъ и жена для крестьянина прежде всего работница; но и тутъ дѣло не обходится безъ драмъ, тѣмъ болѣе, что грубость и фанатичность не развиваютъ въ этой средѣ терпимости. Впрочемъ, при этомъ мы должны сообщить отрадный фактъ, лично замѣченный нами: съ упраздненіемъ крѣпостнаго права, молодые крестьянскіе люди стали сами выбирать себѣ жениховъ и невѣстъ и съ настоячивостью, часто торжествующей надъ упрямствомъ стариковъ, соединяются бракомъ по собственному сочувствію. Мы не пишемъ трактата о бракѣ и вынуждены были остановиться на понятіяхъ о немъ общества, чтобы разъяснить себѣ образъ дѣйствій Татьяны, этой первой русской дѣвушки, выходящей замужъ, да еще при любви къ другому. Какъ же она при этомъ дѣйствовала? — Но прежде оговоримся. Романъ, дѣйствующія лица котораго насъ занимаютъ, не принадлежитъ къ тому, отвергаемому художниками роду, который называется тенденціознымъ и въ которомъ иные авторы, замысловъ повѣсти, или ея дѣйствующими лицами, желаютъ разъяснить свои воззрѣнія на извѣстный вопросъ, сказать, надо ли въ извѣстномъ случаѣ такъ поступать, или не надо. „Онѣгинъ“ — романъ чисто

художественный; въ немъ авторъ взялъ обыкновенныхъ людей, дѣйствующихъ при обыкновенномъ случаѣ и онъ намъ дорогъ, независимо отъ эстетическаго наслажденія, имъ доставляемаго,—своею правдою, своею вѣрностью жизни. Такія произведенія, исполненныя съ такимъ поразительнымъ искусствомъ, полнѣе и вѣрнѣе, чѣмъ сухой историческій документъ, изображаютъ общество своего времени, и для читателя, какъ и для критика представляютъ тотъ образчикъ жизни, который онъ можетъ разсматривать, анализировать и дѣлать изъ него свои выводы и заключенія. На этомъ основаніи, намъ нѣтъ надобности осуждать, или оправдывать собственно Татьяну. Мы не будемъ ни проливать объ ней слезы, ни изливать на нее желчь. Она не переловая дѣвушка своего времени, она не пролагаетъ новые пути и не указываетъ на нихъ; она тѣмъ намъ (но не современникамъ) и дорога, что представляетъ, какъ мы выразились про Онегина, типъ „средней дѣвушки“ своего времени: она для насъ лицо собирательное. Итакъ, посмотримъ, какъ относились Татьяны того времени къ браку по расчету и какъ обходили подводные камни, имъ представляемые.

Всѣ воззрѣнія Татьяны на счетъ брака и обязанностей, имъ на женщину налагаемыхъ, выразились въ немногихъ словахъ, которыми она заключаетъ отвѣдъ свою Онегину:

. судьба моя
Ужъ рѣшена. Неосторожно,
Быть можетъ, поступила я;
Меня съ слезами заклинаній
Молила мать: для бѣдной Тани
Всѣ были жребіи равны...
Я вышла замужъ. Вы должны
Я васъ прошу меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?)
Но я другому отдана;
Я буду вѣкъ ему вѣрна!

Въ этихъ строкахъ весь символъ понятій о бракѣ дѣвушки того времени и дѣвушки, прибавимъ, строгаго закала. Какъ же она отзывается о своемъ замужствѣ по расчету?

„Неосторожно, быть можетъ, поступила я!“ говоритъ она. Какъ? только неосторожно? Полно, такъ ли? Напротивъ, съ практической точки зрѣнія, намъ кажется, чрезвычайно осторожно. Татьяна вполне довѣрилась въ выборѣ мужа даже не своей неопытности, а матери и роднѣ. Когда за нее сватались Буяновъ и Пѣтушевъ, когда гусаръ Пыхтинъ ею прельщался и мелкимъ бѣсомъ разсыпался—Татьяна имъ отказала, потому что они ей не нравились, а мать, женщина практическая, не настаивала на такомъ замужствѣ; но когда является важный и богатый генералъ, мать

умоляетъ. а дочь соглашается и разумѣется, ужъ если выходить безъ любви, по одному расчету, то, конечно, генерала слѣдовало предпочесть Буянову и Пѣтушкову; да и во всякомъ случаѣ, Татьяна поступила разумно, потому что если-бы она осталась засидѣвшейся провинціальной, мечтательной дѣвой, то Онегинъ никогда бы къ ней нѣжностью не воспылалъ. Какъ же она при этомъ поступила съ своими чувствами и влеченіемъ, какъ она взглянула на тѣ супружескія отношенія съ старымъ генераломъ, которыя являются весьма противуестественными и безнравственными, когда любишь другаго?—А вотъ какъ Когда княгиня Татьяна Дмитриевна оскорбилась признаніемъ Онегина и стала читать ему наставленія, она такъ выразилась:

А нынѣ, что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? Какая малость?
Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ
Быть чувства мелкаго рабомъ!

Извольте видѣть: „малость!“ „мелкое чувство!“ Сама старуха Ларина не могла бы быть болѣе ничтожнаго мнѣнія объ этихъ чувствахъ и отношеніяхъ. Отчего же при подобномъ воззрѣніи не отдаваться старому генералу, если онъ доставляетъ хорошее положеніе въ свѣтѣ? Но мы бы желали только спросить мелодию генеральшу объ одномъ: когда тоже самое чувство, которое заставило теперь Онегина писать и объясниться ей—заставляло ее, дѣвушку, преодолѣть свой-

ственную ее полу стыдливость, всё привитая ей съ издѣтельства понятія и бросаться въ объятія едва знакомаго мужчины,—отчего это чувство было велико, почтенно и глубоко, а онѣгинское „малость“. А если это и дѣйствительно малость, отчего же она такъ обидѣлась? Стоить ли изъ-за малости поднимать такой шумъ? Гдѣ же тутъ логика?

Но намъ могутъ замѣтить, что Татьяна называетъ малостью и мелкимъ чувство Онѣгина потому, что считаетъ его не любовью, а волокитствомъ; она не вѣритъ, чтобы Онѣгинъ, отвергшій ее въ то время, когда она была моложе и лучше, могъ полюбить ее теперь и объясняетъ его признаніе желаніемъ побѣды, которая могла бы ему принести въ свѣтъ „соблазнительную честь“. Такое толкованіе не дѣлаетъ чести ни проныцательности княгини Татьяны, ни настроенію ее воображенія. Это мнѣніе свѣтской аскетки и ханжи, которая, забывъ свои молодыя и здоровыя чувства, начинаетъ во всемъ видѣть соблазнъ, плотскія страсти, грѣховныя помыслы и безъ всякаго повода недоувѣряетъ даже любимому человеку. Но, положимъ, она права и Онѣгинъ за ней просто волочился. Да вѣдь однакоже, она любитъ Онѣгина? Какъ же при этой-то любви она выходила замужъ за другаго человека и теперь принадлежит другому? И въ какой же мѣрѣ нравственны ее то отношенія къ мужу? Что это за странная любовь такая?

Если-бы объ этихъ противорѣчiяхъ спросить самую Татьяну, она, мы увѣрены, не могла-бы разъяснить ихъ, хотя-бы конечно сказала, что ея любовь — не любовь *грязная, земная*, что это — идеальная любовь. Въ такомъ случаѣ, спросили-бы мы ее, чего же добивалась она отъ Онѣгина, когда писала къ нему:

Повѣрьте, моего стыда
Вы не узнали-бъ никогда
Когда-бъ надежду я имѣла
Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ,
Чтобъ только слышать ваши рѣчи
Вамъ слово молвить и потомъ
Все думать, думать объ одномъ
И день и ночь до новой встрѣчи...

отчего блѣднѣла и худѣла она отъ этого думанья, отчего и теперь, замужемъ, плакала надъ письмами Онѣгина? Вѣдь теперь, по крайней мѣрѣ, ничто не мѣшало ей видать Онѣгина сколько угодно, и думать о немъ и день и пожалуй ночь, даже въ объятiяхъ своего генерала?

Но довольно! Мы-бы никогда не кончили, если-бы стали доискиваться какой-нибудь разумной послѣдовательности въ дѣйствiяхъ и сужденiяхъ вышедшей замужъ Татьяны. Объясненiе есть одно: Татьяна была искренна и честна, когда дѣйствовала самостоятельно, и не сдержавъ свои молодыя чувства открылась въ

любви Онѣгину. Но любовь встрѣтила роковыя препятствія; бѣдная дѣвушка не знаетъ выхода и въ припадкѣ разочарованія, апатіи, — слѣпо, безъ повѣрки отдается общепринятымъ условіямъ и вноситъ въ нихъ ту строгость и страстность, которыя присущи ея характеру. Она повинуется родительницѣ, которая умоляетъ ее выйти за знатнаго генерала, и отдается ему противъ всякаго желанія, смотря на это самопожертвованіе, какъ на исполненіе какого-то долга; потомъ мы ее видимъ знатной барыней, холодно и равнодушно, но безупречно выполняющей свѣтскій уставъ, тоже своего рода „долгъ“, и наконецъ, когда является чловѣкъ, ею любимый, мы ее видимъ какой-то матроной безукоризненной, неприступной и до такой степени „высоко держащей знамя жены“, какъ-бы выразилась иной публицистъ, что самое признаніе Онѣгина глубоко оскорбляетъ ее и она несмотря на свою любовь къ дерзкому, отвѣчаетъ ему классическимъ —

Но я другому отдана,

Я буду вѣкъ ему вѣрна!

И тутъ она повинуется только „долгу“.

Однакожь, что же это за звѣрь и нелѣпый деспотъ этотъ „долгъ“?

Всякій, здраво развитой чловѣкъ глубоко уважаетъ того, кто остается вѣренъ такъ называемому долгу, — но дѣло въ томъ, что далеко не всѣ одинаково понимаютъ, что за штука этотъ высокоо

почтенный долгъ. Поэтому, прежде нежели говорить о немъ, опредѣлимъ, что такое должно разумѣть подъ словомъ „долгъ“, по нашему мнѣнію.

Мы, признаемся, не понимаемъ долга-идола, того отвлеченнаго долга—устава, которому должно подчиняться не только все разумное и честное въ жизни, но и самая жизнь, и про который одинъ изъ наиболѣе уважаемыхъ нами писателей выразился: „жизнь не шутка,—жизнь есть долгъ и долгъ тяжелый“. Мы, напротивъ думаемъ, что важнѣе жизни ничего нѣтъ на свѣтѣ и что „долгъ есть служеніе правильно и глубоко понятымъ интересамъ жизни“,—всей жизни, жизни личной и жизни общественной, ибо и интересы той и другой, при правильномъ ихъ пониманіи, не должны расходиться между собою. Объяснивъ такимъ образомъ наше пониманіе долга, мы невольно дѣлаемъ себѣ вопросъ, что же это былъ за долгъ, которому жертвовала собою Татьяна и который такъ перепуталъ ея понятія? Былъ ли это, дѣйствительно, долгъ, служащій интересамъ жизни? На это мы, не колеблясь, должны дать вполне отрицательный отвѣтъ. Никакой разумный долгъ не приводитъ къ противорѣчіямъ и нелѣпостямъ. Разумный долгъ не могъ требовать, чтобы Татьяна, любя одного, вышла замужъ и клялась въ вѣрности другому. Но если дѣвушка дала клятву въ припадкѣ разочарованія и апатіи, и потомъ, встрѣтивъ Онегина, почувствовала, что старая любовь еще въ

ней живеть, — долгъ требовалъ, чтобы она явилась женщиной, а не ханжей, увлекшейся мелкимъ желаніемъ отомстить Олѣгину за его прежнюю холодность и похвастаться передъ нимъ своею добродѣтелью! Мы отнюдь не жалаемъ сказать, что Татьяна должна была измѣнить своему мужу, которому она клялась въ вѣрности (хотя, замѣтимъ, что соблюденіе одной такъ сказать вещественной вѣрности есть весьма узкое ея пониманіе, да и это сохраненіе часто зависитъ болѣе отъ силы и чувства, темперамента и случайности, чѣмъ отъ насъ), — нѣтъ! Мы хотимъ сказать только, какъ же, соблюдая свой долгъ, Татьяна обманывала своего мужа? какъ не догадалась она, что должна бы была мужу первому сказать о своей любви, какъ скоро ее сознала? Тогда, если сама Татьяна не въ состояніи была понять всей безнравственности и лжи своего положенія, то ея князь, коли онъ былъ человѣкъ сколько нибудь развитой и порядочный, а не грубо-чувственный чурбанъ, конечно, первый бы отказался отъ нѣкоторыхъ, если не всѣхъ своихъ супружескихъ правъ и постарался бы разводомъ или другими путями устроить счастье жены, дать ея невольному чувству разумный выходъ, потому что при любви къ другому это право дѣлается безнравственностью. Нѣтъ! Татьяна дѣйствовала не въ силу ясно сознанаго долга — она создала себѣ долгъ изъ общепринятой рутинны, взявъ ее безъ всякой повѣрки. Мы относимся съ со-

вершеннымъ безпристрастіемъ къ общепринятымъ протореннымъ дорожкамъ и признаемъ ихъ значеніе. Онѣ установились не даромъ; онѣ составляютъ достояніе вѣковаго житейскаго опыта и имѣютъ большія практическія удобства. Но эти правила сложились не въ силу логики, а такъ сказать механически, отъ взаимнаго тренія перепутанныхъ интересовъ; отъ этого въ нихъ есть много несообразностей, противорѣчій — и свѣтъ очень хорошо это сознаетъ, какъ мы замѣтили говоря о его взглядѣ на бракъ. Но этотъ свѣтъ никогда ни на ногу не измѣнитъ своихъ обычаевъ въ силу теоретическихъ доказательствъ, хотя бы вы доказали ему его нелѣпость, какъ дважды два четыре. Свѣтъ—практикъ и потому предоставляетъ самой жизни рѣшать затруднительные вопросы; для этого онъ сквозъ пальцы смотритъ на всѣ отклоненія отъ своихъ правилъ (если только они не дѣлаются съ громомъ и съ цѣлью протеста); и когда эти частные случаи уклоненія увеличатся до такой степени, что сдѣлаются обычаями, то онъ ихъ молча признаетъ и вноситъ въ свой кодексъ. Люди практическіе понимаютъ это очень хорошо и не тратятъ силъ на праніе противу рожа, а соблюдая по наружности положенный уставъ, дѣлаютъ безъ шума и скандала все, что находятъ по своимъ понятіямъ дозволеннымъ. Есть другіе люди съ твердымъ характеромъ и ясно сознаннымъ воззрѣніемъ, которые не только дѣйствуютъ по собствен-

ными убѣжденіями, не слушая мнѣній свѣта, но стараются провести эти воззрѣнія даже на перекоръ свѣту: это уже пропагандисты идеи. Но и тѣ, если желаютъ остаться не столько теоретиками, сколько практиками, не усложняютъ свое дѣло тратою силъ на борьбу съ мелочами, а настаиваютъ на главномъ и существенномъ. Не то бываетъ съ сильными характерами, которые, принявъ безъ повѣрки общественные обычаи, становятся ихъ строгими послѣдователями: они тотчасъ доходятъ до нелѣпостей. Возьмемъ примѣръ мелкій: есть, на примѣръ, люди, которые скорѣе просидятъ дома, или откажутъ себѣ въ обѣдѣ, нежели рѣшатся выходить въ надѣванныхъ перчаткахъ. Мы не имѣемъ данныхъ, чтобы тоже сказать о Татьянѣ касательно наружнаго соблюденія ею самаго строгаго свѣтскаго церемоніала, хотя охотно вѣримъ, что и въ немъ она была строга до нелѣпости; но соблюденіе нравственнаго кодекса дошло въ ней до подобной же несообразности. Посмотрите, какихъ противорѣчій не встрѣтите вы въ набранной изъ избытыхъ фразъ ея отвѣди Онѣгину! Она упрекаетъ его, зачѣмъ не любилъ онъ ее прежде, а любить теперь: какъ будто на любовь есть утвержденный штатъ и время! Она говоритъ, что Онѣгинъ поступилъ съ ней благородно, и вмѣстѣ съ тѣмъ, мститъ ему за его искренность и честность, за потерянное, по своей милости, счастье. Она говоритъ, что равнодушна ко всей этой ветоши маскарада, которая

окружаетъ ее, и въ то же время высчитываетъ ему и свое положеніе въ свѣтѣ, и ласки „двора“, и богатство и знатность. Выйдя замужъ по расчету и убѣжденіямъ матери, она отнеслась къ своимъ женскимъ ласкамъ съ безцеремонностью русскаго мужика и практичностью содержанки, а между тѣмъ, считаетъ эти ласки, какъ весталка, за нѣкій священный огонь и одно подозрѣніе, что Онѣгинъ имѣетъ коварное намѣреніе посягнуть на нихъ, глубочайшимъ образомъ оскорбляетъ ее! А о томъ пониманіи вѣрности и обязанностей къ мужу, которыя она совѣстила въ классическомъ „отдана и буду вѣкъ ему вѣрна“, мы уже говорили. И прочитавъ всю эту, выученную наизусть мораль, княгиня Татьяна воображаетъ, что она поступила въ высшей степени добродѣтельно и честно, что она пожертвовала своею любовью, своимъ личнымъ счастьемъ какому-то необходимому для общаго блага долгу, совершила, говоря нынѣшнимъ выраженіемъ, нѣкій гражданскій подвигъ и остается, вѣроятно, собою очень довольна!... Какое печальное заблужденіе!

Въ очеркѣ нашемъ „Софья Фамусова“ мы видѣли великосвѣтскую москвичку; испорченную родительскимъ наслѣдіемъ, воспитаніемъ и окружающей сферой, и, благодаря этой порчѣ, упавшей весьма низко въ нравственномъ отношеніи, хотя сохранившей наружную приличность. Въ Татьянѣ мы видимъ русскую деревенскую дѣвушку, русскую съ головы до ногъ по своимъ

предразсудкамъ, достоинствамъ и недостаткамъ, которая родилась въ деревенской глуши и, благодаря простору и безыскусственности своего воспитанія, возросла энергичной и искренней, характерной дѣвушкой. Въ началѣ, эта счастливо надѣленная провинціалка повинуется только собственнымъ молодымъ и честнымъ порывамъ,—и она въ это время безупречна, естественна и чиста, она прелѣстна и подкупаетъ всѣ симпатіи читателя. Но эти чистые, естественные порывы встрѣтили преграду; ея неразвитый умъ не нашелъ выхода изъ трагическаго положенія, въ которое поставилъ ее отказъ Онѣгина. Дѣвушка, потерявъ вѣру въ себя, въ свой умъ и понятія, слѣпо отбрасываетъ холодней морали—и изъ нея выходитъ сухая, безжизненная формалистка, лишенная всякаго здраваго и самостоятельнаго взгляда. Сильный характеръ и строгое отношеніе къ обязанностямъ, эти два вообще столь высокія качества, при томъ направленіи, которое принимаетъ Татьяна замужняя, служатъ ей же во вредъ. И это всегда такъ бываетъ: сила только тогда хороша и благодѣтельна, когда направлена на полезное дѣло. Никто такъ не вредилъ, не вредитъ и не будетъ вредить дѣлу жизни, дѣлу общественнаго развитія, какъ энергическіе, но неправильно развившіеся люди, не понимающіе гдѣ и въ чемъ добро и тормозящіе всякое преуспѣяніе, потому что оно ихъ невѣжеству кажется зломъ. Въ этомъ случаѣ, такъ называемые покладистые

люди, — люди мягкіе и прилаживающіеся къ жизни, — гораздо счастливѣе лично и гораздо безвреднѣе для общества. Такъ, добрая и румяная сестра Татьяна — Ольга, внушаетъ намъ слабое сочувствіе, но зато нисколько и не огорчаетъ насъ. Не такова Татьяна, такъ очаровавшая насъ вначалѣ и такъ огорчившая въ концѣ. Мы знаемъ, рутинные моралисты не согласятся съ нами и обвинять насъ самихъ въ безнравственности; мы съ ними спорить не будемъ. Но пусть они, забывъ правоучительные афоризмы, почерпнутые изъ прописей, положить руку на сердце и сказать, не досадно-ли имъ на безжизненную книжницу Татьяну, которая отвѣчала влюбленному Онѣгину, какъ семинаристъ, сказывающій проповѣдь? Не милѣли имъ пишущая свои признанія деревенская дѣвушка, чѣмъ эта Матрона, напоминающая тѣхъ неприступныхъ и непостижимыхъ для ума красавицъ, про которыхъ сказалъ поэтъ, что „внушать любовь для нихъ бѣда, пугать людей для нихъ отрада“? Да, прелестная дѣвушка становится пугаломъ; но виновата-ли она? Конечно нѣтъ! Мы уже говорили, что Татьяна не исключеніе, не передовая дѣвушка. Ей было не подѣ силу проложить новую и самостоятельную тропинку, а общій трудъ не разработалъ еще и не сдѣлалъ въ то время общеизвѣстными тѣ здравыя понятія, которыя нынѣ начинаютъ пробиваться въ общество и указывать путь дѣвушкамъ, надѣленнымъ отъ природы та-

кими же честными стремлениями, какія мы замѣтили въ Татьянѣ. И вотъ, благодаря тогдашнему недомыслию, благодаря ложнымъ и не провѣреннымъ понятіямъ о своихъ обязанностяхъ, мы видимъ на Татьянѣ, какъ первая, изображенная въ литературѣ русская честная дѣвушка, первая пробуждающаяся женская сила — запутывается, сбивается нравственно, деревянѣетъ на нашихъ глазахъ и бесполезно испортивъ свою личную жизнь, вноситъ жертвенность и ложь въ жизнь семейную и общественную.

III.

БѢЛА, КНЯЖНА МЕРИ И ВѢРА.

Мы беремъ трехъ женщинъ, изображенныхъ въ одномъ романѣ и влюбленныхъ въ одного и того же человѣка. Да, только влюбленныхъ. Иныхъ стремлений и побужденій въ женщинахъ того времени мы еще не видимъ: любить, выйти замужъ, любить какъ можно сильнѣе человѣка, какъ можно прекраснѣе, выйти замужъ, какъ можно лучше — вотъ мечта тогдашней дѣвушки — и мы, занявшись рядомъ женщинъ, выведенныхъ въ литературѣ, должны поневолѣ витать пона въ области любви.

Какое блаженное время! Ни заботъ о присказаніи какой нибудь самостоятельности, ни заботъ о развитіи и самовоспитаніи, ни тревожныхъ участій къ вопросамъ о положеніи женщины, ничего нѣтъ, — все было въ исправности: все, что требовалось, было устроено, размѣрено и отведено. Больше спрашивать было преступленіемъ, — хуже того: глупостью и нелѣпостью. Но читатель могъ замѣтить, что, обрѣтаясь въ этомъ счастливомъ, вселюбовномъ Китаѣ, — гдѣ только и дѣло было что влюбляться, гдѣ не заботились даже о кускѣ хлѣба, а если кому и предстояла нѣкоторая въ немъ надобность, то онъ пріобрѣтался тоже не иначе, какъ посредствомъ любви, — стоило очаровать богатаго чело-вѣка и выйти за него замужъ — въ этой области любовныхъ отношеній мы занимались не самымъ чувствомъ, не силой его и способомъ выраженій, а опредѣленіемъ тѣхъ нравственныхъ требованій, съ которыми женщина обращалась къ сонму мушкетъ, если только были эти требованія, а не влюблялась въ красивый мундиръ или носъ, на подобіе греческаго; мы желали тоже опредѣлить какимъ практическимъ образомъ выражалась любовь, словомъ, выяснить общественное и гражданское проявленіе любви, вовсе не касаясь, такъ сказать, военнаго. Съ этой цѣлью, въ ряду русскихъ женщинъ, какъ предметъ для сравненія, мы беремъ и пошавшуюся подъ руку дикарку Белу. Жатва, которую намъ даютъ женщины, помѣнованныя въ заглавіи,

очень не велика, да и самыя женщины не очень замѣчательны,—это просто дюжинныя женщины. Мы видимъ княжну Мери, которая, осматриваясь въ кругу мужчинъ, собравшихся на водахъ, прежде всего обращаетъ свое вниманіе на такъ называемыхъ „интересныхъ“. Изъ среды этихъ счастливицевъ она выбираетъ себѣ „предметъ“,—предметъ кокетства, любви, а можетъ быть и замужства. Княжна занялась нѣкимъ впоныей Грушницкимъ, котораго вся особенность состояла въ томъ, что, имѣя всѣ признаки благороднаго происхожденія, онъ носилъ солдатскую шинель и вдобавокъ былъ раненъ. Вотъ каковы были тѣ общественные двигатели, по которымъ княжна Мери избирала себѣ „предметъ“. Носить солдатскую шинель—значить протестуетъ противъ общественной рутинны, хотя бы эта рутинна изображалась отропившимъ брюшко баталіоннымъ командиромъ; раненъ—значить выказалъ храбрость, храбрость, разумѣется, военнаго человѣка, ибо объ иной какой либо храбрости женщины того времени едва-ли и слышали. Однако Грушницкій оказывается фальшиво-интереснымъ человѣкомъ, какъ натертый ртутью грошъ, который впоныхахъ можно принять за серебряную монету: онъ былъ не разжалованный дуэлистъ, а просто юнкеръ, да еще и дурного тона, что несомнѣнно выказалъ при производствѣ въ офицеры туго застегивающимся воротникомъ и обиліемъ розовой помады. Но является другой интересный человѣкъ, на-

стояще-интересный, и затмѣваетъ перваго окончательно. Печоринъ былъ не просто интересный человекъ, а интересный во всѣхъ отношеніяхъ: одѣвался онъ не только въ военное платье, но иногда, по кавказской модѣ, радился черкесомъ; на немъ лежалъ ореолъ не опредѣленнаго авторомъ, но какого то настоящаго наказанія; храбрость его тоже была превыше похвалъ. Какъ же не заинтересоваться подобнымъ человекомъ? Говоря о Печоринѣ въ статьѣ о „герояхъ“ мы высказали мнѣніе, что онъ былъ своего рода представителемъ современнаго общественнаго стремленія, стремленія кинушагоса въ суеъ, да еще суеъ кривой и бесполезный—но все-таки единственный, на которомъ были кой какіе листья. Съ этой точки зрѣнія дѣвушка, занявшаяся предпочтительно Печоринымъ, выказывала еще нѣкоторую строгость и разумность въ своемъ „подборѣ“. Но къ несчастію княжна Мери увлекается именно обыденными качествами Печорина, въ которыхъ могъ его превзойти любой пріѣзжій гвардеецъ. Слѣдуя за ней, спускаешься въ слой самыхъ мельчайшихъ и чисто наружныхъ качествъ: мундира, духовъ, ловкихъ фразъ и эффектныхъ появленій. Современная развитая дѣвушка, конечно, съ презрительнымъ сожалѣніемъ отнесется ко вкусамъ княжны Мери, но если она оглянется кругомъ, то увидитъ, что это еще вкусы и нашего огромнаго современнаго большинства, что въ немъ только измѣнились покроемъ платья да выборомъ духовъ.

Но княжна Мери, начавъ обращать вниманіе на Печорина, какъ на интереснаго молодаго человѣка, попадаетъ на человѣка, дѣйствительно умнаго и сильнаго. Кокетство, начатое обихѣномъ колкостей, кончается для дѣвушки любовью. Печоринъ былъ, какъ намъ извѣстно, однимъ изъ лучшихъ любовныхъ дѣлъ мастеровъ того времени и дѣйствительно не только влюбилъ въ себя дѣвушку, но довелъ свою виртуозность до того, что заставилъ княжну первую признаться въ любви: это былъ не Онегинъ, просто поразившій своимъ появленіемъ въ глуши деревенскую барышню, и княжна Мери была не наивная Татьяна. Татьяна выражается безъ обиняковъ и еще письменно; Татьяна желаетъ только одного —

Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ,
Чтобъ только слышать ваши рѣчи,
Вамъ слово молвить и потоки
Все думать, думать объ одномъ
И день и ночь до новой встрѣчи...

Какая утѣренность и какая наивность! Нѣтъ, княжна выражается не прямо, но намекнувъ на свою любовь, при слѣдующемъ же свиданіи, сама заговариваетъ о бракѣ, и когда видитъ, что Печоринъ на этотъ счетъ, задаетъ молчка, то поощряетъ его и разъясняетъ, что препятствія можно устранить, а если

родные заупрямятся, то она, — страшно сказать, — рѣшится выйти и безъ ихъ согласія!

Но увы! ея возлюбленный, съ беззащитчивостью, не встрѣчаемою еще до тѣхъ поръ въ русской литературѣ, отвѣчаетъ ей прямо, что онъ ее не любитъ. Это дѣлало бы честь его прямотѣ, если-бы онъ не влюбилъ въ себя княжну и не высказалъ самаго отвѣта, болѣе изъ желанія порисоваться своими жестокосердіемъ и холодною, чѣмъ изъ искренности, да чтобы отдѣлаться разомъ отъ женитьбы. Печоринъ не только не былъ холоденъ къ княжнѣ, но даже, какъ это видно изъ нѣкоторыхъ его словъ, чувствовалъ къ ней сильную склонность. Только на бѣду онъ былъ также не расположенъ къ женитьбѣ, какъ и Онѣгинъ; онъ говоритъ, что какъ бы ни любилъ женщину, но достаточно только одного намека съ ея стороны на женитьбу, чтобы онъ разлюбилъ ее; онъ въ своемъ пристрастіи къ необыкновенному приписываетъ даже этотъ суевѣрный яко-бы страхъ предсказанію какой-то старухи, которая предрекла ему смерть отъ злой жены. Все это вздоръ, разумѣется. Гораздо ближе подходит Печоринъ къ истинѣ, рассуждая объ этомъ предметѣ въ скучной крѣпости. Не безъ сильной рисовки онъ сравниваетъ себя съ матросомъ, рожденнымъ и взросшимъ на палубѣ разбойничьаго судна и до того привыкшаго къ бурямъ, что мирная жизнь на берегу будетъ для него невыносима. Да, въ немъ, какъ и въ

Онѣгинѣ, была тревожная потребность чего-то, потребность или ясно не сознаваемая, но до того сильная, что они всю жизнь томились ею и ради ее такъ равно охраняли свою независимость и несвязанность; имъ бѣднымъ мученикамъ бездѣйствія все казалось, что наступить скоро какая-то великая борьба, въ которой они должны принять горячее участіе и для этой борьбы они берегли себя и свою свободу. Но они сами, повторяемъ, не могли себѣ ясно опредѣлить въ чемъ должна заключаться эта борьба: какъ же бы они объяснили эту помѣху къ женитбѣ тогдашней женщины? Онѣгинъ вздумалъ было подробно объяснить это Татьянѣ и что же вышло? Барышня оказалась до того тупа на этотъ счетъ, что впоследствии упрекала Онѣгина за то, что онъ не любилъ ее, когда она была милое и лучше, и не сдѣлалъ ей предложенія, когда она была свободна! Вотъ и толкуйте имъ о своихъ нравственныхъ стремленіяхъ, когда они понимаютъ одно стремленіе выйти замужъ! Печоринъ поступилъ умнѣе: не люблю, говорить, да и basta! Княжна разумѣется его возненавидѣла. Но что если-бы онъ ей сказалъ, что любить ее, но жениться на ней не желаетъ? О, съ какимъ величіемъ оскорбленнаго достоинства отнеслась бы она къ нему! Какъ? любить ее, княжну, безъ „честныхъ“ намѣреній? — Одна мысль объ этомъ ее приводитъ въ негодованіе. Когда Печоринъ, пользуясь случаемъ, обнялъ княжну, у которой

закрылась голова, при переѣздѣ черезъ рѣчку, и при этомъ удобномъ положеніи поцаловалъ ее въ щеку, она оправившись стала немедленно приставать къ нему съ вопросами, имѣющими нескрываемую цѣль вызвать рѣшительное объясненіе:

— „Или вы меня презираете, или очень любите? Можетъ быть вы хотите посягнуть на мое сердце, возмутить мою душу и потомъ оставить... Это было бы такъ подло.... такъ низко.... что одно предположеніе.... о, нѣтъ! не правда-ли во мнѣ нѣтъ ничего, чтобы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что позволила.... Отвѣчайте, говорите же; я хочу слышать вашъ голосъ“!

Не правда-ли, въ этомъ такъ и слышится барышня, которая хочетъ сказать: если ты не попросишь у меня немедленно руку и сердце—ты подлецъ!

Какую противоположность съ этой княжной представляетъ красивая черкешенка Бѣла! Увезенная Печориннымъ, стыдливо умѣла она отклонять его ласки до тѣхъ поръ, пока въ самомъ дѣлѣ не полюбила похитителя, но когда любовь дикарки созрѣла и Печоринъ угрозой уйти отъ нея вырываетъ ея признаніе,—съ какой безотвѣтностью она вся отдается любимому человѣку! Конечно Бѣла не связана тѣми общественными условіями, въ которыхъ находится княжна Мери, но развѣ у ней нѣтъ своихъ нравственныхъ об-

шественныхъ узъ, ей столь же дорогихъ и привычныхъ, жертвовать которыми также ей не легко, какъ и свѣтской княжнѣ? Какая разница опять выказывается между ней и княжной — и къ невыгодѣ послѣдней — въ положеніи, принятомъ черкешенкой, когда удовлетворенная любовь начала гаснуть въ Печоринѣ.

— „Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой?“ говорить она Максимъ Максимычу, отеревъ слезы и гордо поднявъ голову. „А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, я княжеская дочь!“ Вотъ это любовь, настоящая любовь, безъ всякой подмѣси. А то хороша любовь, которая говорить „обязитесь меня содержать и возиться со мною всю жизнь!“ Это уже гражданская, если не торговая, сдѣлка и мы находимъ, что если черкесская княжна не такъ предусмотрительна, какъ русская, то она, по крайней мѣрѣ, искреннѣе и послѣдовательнѣе!

Есть еще женщина, оставленная въ тѣни и слабо обрисованная въ названномъ нами романѣ: это бѣдная и любящая Вѣра. Причина, по которой она полюбила Печорина, высказанная ею въ прощальной запискѣ къ нему *), болѣе уважаема, чѣмъ причина княжны Мери,

*) Вотъ эти слова записки: „Мы расстаемся на вѣки; однакожъ ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другаго; моя душа истощила на тебѣ всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на

потому что болѣе основана на нравственныхъ, нежели наружныхъ качествахъ. Въ этой причинѣ много ошибочнаго, много навязаннаго увлеченіемъ страсти, много, съ хладнокровной точки зрѣнія, вызывающаго улыбку, но въ каждомъ словѣ самой записки видно столько женственности, преданности и искренняго чувства, что мы охотно прощаемъ этой „многой любви“ ея заблужденія того времени. По крайней мѣрѣ Вѣра не торговалась со своею страстью. Она ей многимъ пожертвовала и еще большимъ рисковала. Она обманывала своего перваго мужа, обманула и втораго. Когда этотъ обманъ открылся впослѣдствіи, она могла потерять не только семейное спокойствіе, но и средства жизни, — хуже того, она могла остаться и остается во власти мужа, который изъ боязни огласки не броситъ ее, за то будетъ весь вѣкъ пилить и попрекать измѣной. Прибавимъ къ этому, что любовь Печорина, по словамъ Вѣры, ничего ей не дала, кромѣ страданій. Но поставимъ эту страстно любящую женщину въ поло-

прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше другихъ; о нѣтъ! Но въ твоей природѣ есть что то особенное, тебѣ одному свойственное, что то гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть необходимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не общаетъ столько блаженства; никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противное“.

женіе княжны Мери. Что если-бы Печоринъ внушилъ ей любовь и вздумалъ обнять въ то время, когда она была еще дѣвушкой? Мы увѣрены, что и Вѣра точно также заговорила бы объ оскорбленіи и спросила бы Печорина, когда онъ обратится къ маменькѣ? — какъ это сдѣлала Мери, точно также какъ мы увѣрены, что любовь Мери къ Печорину не помѣшаетъ ей выйти замужъ за другаго. Вѣдь не помѣшала же Вѣрѣ эта любовь, да еще страстная, выйти замужъ во второй разъ, хотя, какъ она выражается, женщина, полюбившая Печорина, не можетъ безъ нѣкотораго презрѣнія смотрѣть на другихъ мужчинъ! Все это показываетъ намъ, что женщины, выведенныя въ романахъ Лермонтова, были обиденныя явленія. Онѣ съ своею любовью напоминаютъ намъ міръ, гдѣ играютъ роль мундиры, помада, интересные мужчины со взоромъ, общающимъ пропасть блаженства, міръ, гдѣ свободныя дѣвушки оскорбляются, если имъ нашептываютъ о любви, не предлагая руку и сердце, а любящія женщины обманываютъ мужей, живя на ихъ счетъ и не отказывая другимъ въ ласкахъ; міръ, отъ котораго мы уже, по крайней мѣрѣ въ литературѣ, начали отвѣкать. Намъ могутъ возразить, что этотъ міръ и доселѣ существуетъ и не только существуетъ, но составляетъ огромное большинство въ такъ называемомъ образованномъ классѣ. Совершенно справедливо. Но въ наше время уже не толкуютъ про этотъ міръ и эти

отношенія. Имъ уже не занимаются, какъ образцовымъ и возбуждающимъ зависть „высшимъ свѣтомъ“ и все что можетъ онъ желать для себя лучшаго, чтобы его оставили спокойно забавляться его грешными интересами. Теперь уже есть и даже появляются и въ его замкнутомъ кружкѣ другія женщины, съ другими взглядами и требованіями и вниманіе литературы обращено на этихъ женщинъ. Если-бы что либо подобное нынѣшнимъ лучшимъ женщинамъ, съ здравыми воззрѣніями, существовало во время Лермонтова, то нѣтъ сомнѣнія, что замѣчательный талантъ, да еще склонный ко всему необыкновенному, не промолчалъ бы о подобныхъ женщинахъ. Нѣтъ, мы видимъ, что ничего подобнаго вопросамъ, которые задаетъ нынѣ себѣ всякая гимназистка, тогда и не шевелилось. Если въ кругу тогдашнихъ лучшихъ мужчинъ таилось хоть не сознательное, загнутое, хоть ударившееся въ уродливую, но все-таки какое-то невольное стремленіе выйти изъ той спячки, низменности и придавленности, въ которыхъ обрѣталось общество, то между женщинами той поры мы и того не замѣчаемъ; онѣ еще огуломъ и всецѣло покоились, волновались и страдали въ томъ мірѣ, гдѣ прежде всего обращаютъ вниманіе на перчатки и мундиръ, а если полюбить действительно замѣчательнаго мужчину, то потому, что (какъ выразилась Вѣра про Печорина) „ни чей взоръ, какъ его, не общаетъ такого блаженства!“

IV.

М А Ш А (изъ „Затишья“).

Трудно себѣ представить впечатлѣніе болѣе тяжелое и безотрадное, чѣмъ то, которое производитъ на насъ первая, выведенная литературой, дѣвушка, относящаяся нѣсколько строго къ своему чувству и любимому ей человѣку. Русская литература представляетъ намъ одну исключительную особенность, которой нѣтъ ни въ какой изъ европейскихъ литературъ. Рѣшительно, во всѣхъ лучшихъ ея произведеніяхъ, дѣйствующія лица, которыя выставляются какъ наиболѣе замѣчательныя и честныя личности, — кончаютъ всегда печально. Конечно, такое единодушіе взглядовъ всѣхъ талантливейшихъ писателей, жившихъ въ разное время и въ разныхъ кружкахъ, нельзя иначе объяснить, какъ дѣйствительнымъ складомъ нашей общественной жизни, который всѣмъ указываетъ на одинъ и тотъ же ясный и печальный фактъ. Выводъ весьма безотрадный, тѣмъ болѣе, что онъ и доселѣ подтверждается дѣйствительностью и каждый изъ нашихъ, сходящихся съ подмостковъ замѣчательнѣйшихъ литературныхъ дѣятелей, не отступая отъ истины, могъ объяснить свой грустный и безвременный конецъ тѣмъ, чѣмъ объясняетъ одинъ изъ нихъ:

— „Милый другъ, я умираю

Отъ того, что былъ я честенъ...“

Конечно, было бы слишкомъ печально и несправедливо заключить, что всѣ честные русскіе люди гибнутъ вслѣдствіе своей честности. Но нѣтъ сомнѣнія, что для передовыхъ изъ нихъ жизнь наша заключаетъ въ себѣ безпощадно губительныя условія....

Въ мирной деревнѣ, лежащей, не то чтобы въ глухомъ, а въ безпритязательномъ уголкѣ, въ „затишьѣ“, гдѣ даже на именины ѣздятъ другъ къ другу въ сюртукахъ, у одного помѣщика живетъ сестра его умершей жены, дѣвушка лѣтъ 20, по имени Марья Павловна. Вотъ какъ описываетъ ее авторъ: „Черты лица ея выражали не то, чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лобъ ея былъ широкъ и низокъ, носъ коротокъ и прямъ; лѣнивая и медленная усмѣшка изрѣдка кривила ея губы; презрительно хмурились ея прямые брови. Я знаю, казалось, говорило ея непривѣтливое молодое лицо,—я знаю, что всѣ вы на меня смотрите; ну, смотрите, надоѣли! Когда же она поднимала свои глаза, въ нихъ было что-то дикое, красивое и тугое, напоминавшее взоръ лани. Сложена она была великолѣпно“. Впервые является намъ эта дѣвушка съ слегка растрепанными густыми русыми волосами, въ

которыхъ заплетался зеленый листъ; платье у нея помято, коса выбилась изъ модъ гребня, смуглое лицо зарумянилось и красныя губы раскрылись: она только что работала въ саду, что доказываетъ и раскрытый ножъ въ рукахъ, — а руки ея были не велики, но широки и довольно красны, какъ и слѣдуетъ быть у работающей дѣвушки. Говорила она мало, скупо, „я не умѣю говорить“, замѣчаетъ она въ рѣдкія минуты, когда рѣшалась высказывать нѣсколько словъ любимому человѣку. Щеки ея вспыхивали безпрестанно „отъ самолюбія и стыдливости“ и отъ сознанія своей неразвитости, прибавимъ мы. Перчатокъ она не носила. Вотъ и вся наша героиня.

А нравственное развитіе? спросить читатель. Про ея нравственное развитіе авторъ почти ничего не говоритъ— оно выражается въ дѣйствіи. Изъ нѣсколькихъ замѣчаній мы узнали только, что Маша ничего не читала, стихи ей не нравятся, потому что, какъ простодушно объяснилъ ей зять, „она не только стиховъ но и сахару не любить и вообще ничего сладкаго“. Но когда нѣкій практическій человѣкъ Астасовъ сказалъ ей, что стихи не всё бываютъ сладкіе и въ доказательство прочелъ ей „Анчаръ“ Пушкина, это стихотвореніе такъ ей понравилось, что она попросила его повторить и потомъ списать и ночью одна въ саду вслухъ читала его.

Читатель могъ замѣтить уже только изъ одного

портрета, что передъ нимъ является дѣвушка, мало развитая, но не шуточная; что изъ этой дикарки не выйдетъ никогда какъ изъ Пушкинской Татьяны, великосвѣтской, или просто свѣтской женщины; и что, полюбивъ неудачно, она не выйдетъ замужъ по выбору родительницы за знатнаго генерала.

Вотъ эта-то красивая, нетронутая никакимъ ученіемъ дикарка, эта молодая „цѣлина“, какъ называютъ пахари еще дѣвственную землю, полюбила нѣкого Веретьева. Веретьевъ былъ молодой, красивый и не бѣдный помѣщикъ, обладающій многими талантами: онъ пѣлъ и управлялъ хоромъ, какъ знаменитый цыганъ Илья, бойко рисовалъ; былъ отличнымъ актеромъ; умѣлъ тотчасъ подмѣтить и вѣрно передразнить всѣ смѣшныя стороны, не только человѣка, но и любаго животнаго; кромѣ того онъ былъ не глушь, искренъ и вообще добрыхъ побужденій. Его пріатели смотрѣли на него, какъ на богатую натуру и ждали очень многого. Едва-ли не такъ поняла его сначала и Марья Павловна, потому что иначе, едва-ли бы позволяла себѣ полюбить его. Но, какъ справедливо замѣтилъ авторъ, пріатели и поклонники Веретьева ошибались: изъ такихъ людей всегда ничего не выходитъ. Дѣйствительно, въ нихъ недостаетъ строгаго и настойчиваго отношенія къ дѣлу, для нихъ все забава и треньтрава, все ни почемъ и всѣ ихъ талантики служатъ къ тому, чтобы разнообразить пустоту своей пустой

жизни. Кроме того Веретевъ — какъ бы это сказать? — попивалъ, предавался тѣмъ „загуламъ“, которые, одно время, нѣкоторые умные и честные люди, тяжелой эпохи 40-хъ годовъ да простить имъ Богъ, чуть не оправдывали и считали присущими русской широкой натурѣ, а въ безотрадные минуты даже едва-ли не извинительными выходомъ.

Таковъ былъ молодой человекъ, котораго полюбила своимъ глубокимъ чувствомъ Маша — эта изъ цѣльнаго и твердаго куска изваянная дѣвушка. Разумѣется, скоро ея строгій, природный взглядъ открылъ недостатки любимаго человека и она становится имъ постоянно недовольна. Веретевъ, напримѣръ, представляетъ, по просьбѣ сестры, при лицѣ мало знакомомъ, какъ пищать муха, когда ловятъ ее на стеклѣ. Всѣ смѣются. „Вотъ охота дѣлать изъ себя шута“, замѣчаетъ Маша, сквозь зубы. Въ другой разъ... но лучше мы сдѣлаемъ выдержки изъ разговора Маши на свиданьѣ съ Веретевымъ, которыя рисуютъ ее вполне; да и самое свиданье это весьма своеобразно и не походить уже на тѣ встрѣчи влюбленныхъ, которыя мы видали доселѣ.

Раннимъ, лѣтнимъ утромъ, мы застаемъ Веретева на раскинутомъ плащѣ посреди лужайки въ молодомъ березникѣ. Онъ сидѣлъ наклонившись и похлопывая вѣткой по травѣ. Марья Павловна стояла, подлѣ него прислонясь къ березѣ и заложивъ назадъ руки. Нѣтъ

въ ней ни боязни, что ее увидать ни смущенія любви, ни укоровъ, что вотъ-де на что я для васъ рѣшилась. Маша стоитъ молчаливая и строгая. Веретьевъ ее спрашиваетъ: сердится ли она на него? Маша молчитъ и только на повторенный вопросъ отвѣчаетъ: „да“. „За что?“ спрашиваетъ Веретьевъ, и она снова не отвѣчаетъ.

„Впрочемъ, вы точно имѣете право сердиться на меня, началъ Веретьевъ послѣ небольшого молчанія. Вы должны считать меня за человѣка не только легкомысленнаго, но даже...

— Вы меня не понимаете, перебила Марья Павловна. Я совсѣмъ не за себя сержусь на васъ.

— За кого-же?

— За васъ самихъ.

— А, понимаю! говорить Веретьевъ. Опять! опять васъ начинаетъ тревожить мысль: отчего я ничего изъ себя не сдѣлаю? Знаете, Маша, вы удивительное существо, ей Богу! Вы такъ много заботитесь о другихъ и такъ мало о себѣ. Въ васъ эгоизма совсѣмъ нѣтъ, право. Другой такой дѣвушки, какъ вы, на свѣтѣ нѣтъ. И одно горе: я рѣшительно не стою вашей привязанности; это я говорю не шута.

Странно и ново для читателя, ожидающаго въ романѣ, по прежнимъ примѣрамъ, разговора о нѣжныхъ чувствахъ и глубинѣ любви, слышать эти упреки дѣвушки молодому человѣку за то, что тотъ ничего не

дѣлаетъ! Но молодой человѣкъ держится еще старой системы: вмѣсто отвѣта на упрекъ, онъ говоритъ, и нынѣ вѣрить, говорить искренно, о личныхъ чувствахъ, о томъ, что онъ ее не стоитъ.

Вы думаете, Мама станетъ скромничать и опровергать его, ничуть не бывало.

— Тѣмъ хуже для васъ. Чувствуете и ничего не дѣлаете, отвѣчаетъ она.

Веретевъ хочетъ отдѣлаться шуткой и просить у Маши поцѣловать руку, а Мама только пожала плечомъ.

— Дайте мнѣ вашу красивую *честную* руку, мнѣ хочется облобызать ее почтительно и нѣжно. Такъ, вѣтранный ученикъ лобызаетъ руку своего снисходительнаго наставника, продолжалъ Веретевъ и потянулся къ Марьѣ Павловнѣ.

— Полноте, отвѣчала она. Вы все смѣетесь да шутите и прошутите такъ всю вашу жизнь.

Веретевъ и эти слова думалъ обратить въ шутку, но Марья Павловна опять остановила его.

— Прошутить жизнь, возражаетъ тогда Веретевъ, а вы хуже моего распорядитесь, — вы просерьозничаєте всю вашу жизнь. Знаете Мама, вы мнѣ напомнили одну сцену изъ пушкинскаго Донъ-Жуана.

Но Марья Павловна не читала Донъ-Жуана и Веретевъ пересказываетъ ей извѣстный отвѣтъ Лауры

Карлосу, когда тотъ напоминаетъ ей о старости *) и какъ Лаура у Карлоса—очень краснорѣчиво просить, чтобы Маша ему улыбнулась „только доброй, веселой улыбкой, а не вашей обыкновенной усмѣшкой“.

Въ этомъ сближеніи, какъ мы видимъ роль суроваго Карлоса приходится на долю женщины, а вѣтреную Лауру напоминаетъ мужчина.

Маша это тотчасъ поняла.

— Ахъ, Веретевъ! отвѣчала она; вы знаете, я не умѣю говорить. Вы мнѣ рассказали о Лаурѣ. Но вѣдь она женщина.... *Женщины простиительно не думать о будущемъ...*

Но Веретевъ, вѣрный себѣ, и не оспариваетъ Машу; онъ знаетъ, что она права, но ему и лѣнь говорить о дѣлѣ съ ней и вмѣстѣ, какъ будто не хочется спорить съ женщиной: „что дескать толковать

*)

Зачѣмъ

Объ этомъ думать? Что за разговоръ?
Иль у тебя всегда такія мысли?
Приди, открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ темный воздухъ; ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ; яркая луна
Блеститъ на синевѣ пустой и темной
И сторожа кричать протяжно, ясно!
А тамъ на сѣверѣ—въ Парижѣ—
Вить можетъ небо тучами покрыто;
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ,
А намъ какое дѣло?

„Каменный гость“, А. Пушкина.

сь бабой"? Онъ смотритъ на нее съ точки чисто пластической, и вмѣсто возраженія, дѣлаетъ уже приведенное нами замѣчаніе. „Когда вы говорите Маша, вы безпрестанно краснѣете отъ самолюбія и стыдливости; кровь такъ и приливаетъ алмыъ потокомъ въ ваши щеки: я ужасно люблю это въ васъ“.

Въ этомъ отвѣтѣ, взглядъ Веретьева на женщину совершенно опредѣляется. Та ему говоритъ о его дѣлѣ, а онъ отвѣчаетъ, что ему нравится ея вспыхивающій румянецъ!

Но и Маша остается вѣрна себѣ.

Послѣ этого обращенія къ ея красотѣ, она просто хочетъ уйти. Но, Веретьевъ останавливаетъ ее общаніемъ сдѣлать все, что ей угодно.

Маша тогда рѣшается сдѣлать замѣчаніе о томъ, что онъ попиваетъ, но Веретьевъ, весьма неудачно объясняетъ это желаніемъ походить на ласточку, которая смѣло распорядается своимъ маленькимъ тѣломъ: „Швырай себя куда хочешь, несишь куда вздумается“.

— Да къ чему же это? перебила Маша.

— Какъ къ чему? *Изъ чего же тогда жить?*

— А развѣ безъ вина этого нельзя?

— Нельзя, всѣ мы попорчены, измяты. Вотъ страсть—та такое же производитъ дѣйствіе. Оттого-то я васъ и люблю.

— Какъ вино.... Покорно благодарю.

— Нѣтъ! Маша, я васъ люблю не какъ вино; постоите, я вамъ это докажу когда-нибудь, вотъ когда мы женимся и побѣдемъ за границу. Знаете, я уже заранѣе думаю, какъ я приведу васъ передъ милоскую Венеру. Вотъ встаетъ будетъ сказать:

Стоить ли съ важностью очей
Передъ Милосскою Кипридой,
Ихъ двѣ, и мраморъ передъ ней
Страдаетъ, кажется, обидой....“

Мы съ умысломъ сдѣлали это больше извлеченіе, потому что слова Веретьева лучше всего рисуютъ Машу.

Неправда-ли, въ этой степной дѣвушѣ есть дѣйствительно нѣчто, напоминающее Римъ и Грецію. Не ту Грецію или Римъ, которые въ сущности были безобразны, а то что сохранилось отъ нихъ лучшаго въ преданіи и искусствѣ. Портретъ Маши, кажется, срисованъ съ одной изъ статуй ватиканскаго музея! Не даромъ даже одинъ прощальнаго совѣтующій Астахову на ней жениться, выражается про нее: „Вѣдь это не женщина—это просто монументъ!“ Подожительно во всей русской литературѣ мы не встрѣчаемъ такой цѣльной, крупной, такой строгой, хоть нѣсколько грубой женщины. Да впрочемъ подобная женщина и не можетъ быть нѣжной, и невольно задаешь себѣ вопросъ: какинъ образомъ могла явиться Маша въ тѣ

временъ среди нашихъ мелкихъ, изломанныхъ на всѣ лады или мягкихъ какъ тѣсто женщинъ? Но прежде нежели займемся этимъ вопросомъ, скажемъ нѣсколько словъ о человѣкѣ, котораго полюбила Маша, тѣмъ болѣе, что о немъ писать отдѣльной статьи, мы не нашли нужнымъ.

Веретьевъ — это измельчавшій и спустившійся на болѣе практическую точку типъ тѣхъ „художниковъ“, которыми такъ охотно занималась литература нульническихъ временъ, художниковъ, для которыхъ въ жизни только и есть что неистовныя страсти, красоты и безцѣльное искусство. Правда въ Веретьевѣ нѣтъ этой бури чувствъ, которыми были одержимы его прототипы, взглядъ его на жизнь и на самыя чувства гораздо легче, въ немъ есть нѣкоторыя нотки, которыя намекаютъ уже на другой, еще не совсѣмъ опредѣлившійся взглядъ на женщину напр. упоминаніе о „честной“ рукѣ Маши, или эти слова: „за то я люблю васъ; Маша, что вы не свѣтская барышня, не смѣтаетъ безъ нужды, не носите перчатокъ на вашихъ рукахъ, которыя и цѣловать оттого такъ весело, что онѣ загорѣли и силу въ нихъ чувствуете... Я люблю васъ за то, что вы не унижаете, что вы горды, молчаливы, книгъ не читаете, стиховъ не любите“... Не правда-ли, что эти особенности, которыя Веретьевъ полюбилъ въ Машѣ, выказываютъ въ немъ поворотъ къ иному взгляду и инымъ требованіямъ, и если насъ по-

ражаетъ въ немъ упоминаніе о такомъ достоинствѣ Машы, какъ то, что она книгъ не читаетъ, то, вспоминая какимъ чтеніемъ пробавлялось большинство тогдашнихъ женщинъ, особенно живущихъ въ захолустьѣ, и какъ дѣйствовали на воображеніе женщины пошлые романы, согласившя съ Веретевымъ, что эта нелюбовь къ чтенію была дѣйствительно въ то время достоинствомъ, которому Маша обязана независимостью и чистотой своего взгляда.

Веретевъ унаслѣдовалъ также отъ художниковъ и ихъ „загулъ“, и ихъ безхарактерность; но у него мѣткій природный умъ; его взглядъ на самую красоту не глубокъ, но не лишенъ поэтичности и прелести. Вотъ небольшая конечная сцена свиданія, которую приводитъ для полной характеристики героини, потому что въ ней и у строгой Машы прорвалась ея холодная оболочка; и она является стыдливой, любящей и поэтичной женщиной.

Веретевъ хочетъ во что бы то ни стало разсѣнить Машу, и ему это удалось, передразнивъ пробѣжавшаго и остановившагося зайца. Маша улыбается, — и Веретевъ, восторгаясь ею, говоритъ вышеприведенныя слова за что онъ ее любитъ. При упоминаніи о томъ, что она стиховъ не любитъ, Маша замѣчаетъ ему, что она знаетъ стихи и предлагаетъ прочесть „Анчара“. Веретевъ, разумѣется, проситъ — Маша исполняетъ его желаніе. При первомъ стихѣ Марья

Павловна мгновенно подняла глаза къ небу, ей не хотѣлось встрѣчаться взорами съ Веретьевымъ. Она читала своимъ ровнымъ мягкимъ голосомъ напоминающимъ звуки виолончели, но когда она дошла до стиховъ:

И умеръ бѣдный рабъ у ногъ
Непобѣдимаго владыки,

ея голосъ задрожалъ, недвижныя, надвинныя брови приподнялись наивно, какъ у дѣвочки, и глаза съ невольной преданностью остановились на Веретьевѣ.

Онъ вдругъ бросился къ ея ногамъ и обнялъ ея колѣна.

— Я твой рабъ, воскликнулъ онъ: — я — у ногъ твоихъ, ты мой владыка, моя богиня, моя великая Гера, моя Медея.

„Марья Павловна хотѣла оттолкнуть его: но рука ея замерла на густыхъ его вудрахъ, и она съ улыбкой замѣшательства уронила голову на грудь....“

Какая прелестная сцена, и какъ она дорисовываетъ фигуру этой строгой античной дѣвушки! Мы до сихъ поръ видѣли только красивую, суровую и разумно-холодную дѣвушку. — Теперь этотъ холодъ разступился, суровая оболочка прорвалась, и какая стыдливая нѣжность проглянула сквозь нее! Какъ неожиданно хороша и удивительно схвачена эта переѣнна, которую сдѣлали одимъ „приподнявшимся, какъ у наив-

ной дѣвочки, „недвижныя брови“ и какъ согрѣлъ всю эту холодную и строгую фигуру взглядъ ея, съ невольной преданностію остановившійся на обнимающемъ ея колѣни безпутномъ, но миломъ человѣкѣ!

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами женскіе типы были типы „барышень“. Въ Машѣ мы впервые видимъ просто дѣвушку. Если мы спросимъ себя, какимъ образомъ сложилась такая строгая и цѣльная натура среди дряблости, испорченности, вездѣ и всюду встрѣчаемой кругомъ, то должны сознаться, что этими достоинствами Маша обязана единственно тому, что росла и развивалась въ „затишьѣ“ куда еще такъ мало проникли свѣтскія требованія, что помѣщики ѣздить даже на именины въ сюртукахъ; тому, что Маша развивалась уединенно, самостоятельно, что она не читала книгъ, не имѣла никакихъ руководительницъ въ родѣ М-ше Розье или старухи Лариной. Отъ этого умственныхъ способности ея лишены всякой гибкости и наружной отдѣлки: она, какъ сама сознается, и говорить не умѣетъ и въ обществѣ большей частью молчить или отвѣчаетъ двумя—тремя словами; въ свѣтскомъ кругу она вѣроятно была неловка, намъ даже странно было вообразить такую дѣвушку на балѣ. Самъ авторъ очень хорошо это чувствовалъ и съ свойственной ему тонкостью пониманія не говоритъ вовсе о томъ, что Маша дѣлала на этомъ балѣ и отвлекаетъ отъ нее на это время вниманіе читателя дру-

гими лицами.—За то все хорошее, что дала природа этой дѣвушкѣ, развилось въ ней самостоятельно, пустило прямыя и глубокія корни. Въ ней мы замѣчаемъ исполнѣ то, что отчасти видѣли въ Татьянѣ, пока она не приняла и не усвоила себѣ нравственнаго кодекса своей маменьки и московскихъ тетусекъ. Но Татьяна читаетъ романы, она пишетъ къ Ольгину письмо по-французски, потому что это было принято, да можетъ и легче ей,—значить, у нея кромѣ няньки была своя madame Розе, о которой авторъ не упомянулъ, и значить, она читала или много говорила по-французски. Это впрочемъ, не только не мѣшало ей оставаться типической русской барышней, но даже способствовало къ тому, ибо „барышня“ безъ французскаго языка и тогда, какъ отчасти и нынѣ, была немислима.

Мама едва-ли знаетъ по-французски, и если знаетъ, то говорить, конечно, плохо; она рѣшительно лишена тѣхъ маленькихъ пріятныхъ качествъ и умѣнь жить, которыя даются дешевымъ свѣтскимъ воспитаніемъ; практическій и свѣтскій человѣкъ Астаховъ при всѣхъ усиліяхъ не можетъ завести съ ней разговора и она скучаетъ. Мама это сознаетъ сама и, когда она говоритъ даже съ такимъ близкимъ ей человекомъ, какъ Веретѣевъ, то безпрестанно краснѣетъ „отъ стыдливости и самолюбія“. Но за то ея природныя свойства развились въ ней тѣми сторонами,

которая навѣрное заглушило бы или изказило тогдашнее воспитаніе. Выборъ Машей любимаго человѣка былъ чрезвычайно несчастливъ; вѣроятно Веретьевъ поразилъ ее неопытный взглядъ своимъ поэтическимъ складомъ ума, богатствомъ мысли и способностей; но чуть она присмотрѣлась къ нему, это богатство не помѣшало ей разглядѣть подъ нимъ чрезвычайную скудость самостоятельности и глубины. Эти наружныя блески не обольщаютъ Машу, полюбивъ разъ — она любила Веретьева такъ, какъ его мелкая душа никогда не въ состояніи ей отвѣчать, но несмотря на всю силу чувства, она ничуть не поддается любимому человѣку не гнется передъ нимъ. Во все время свиданія, на которое привелъ насъ авторъ, мы видѣли, что Маша постоянно господствовала надъ Веретьевымъ, что ни просьбы и моленія ловкаго и красиваго человѣка, ни ея чувства къ нему не заставили ее на волосъ отступить отъ своей требовательности. Маша еще до многого не додумалась, потому что до всего ей нужно было додуматься самой; она еще полагаетъ, что женщины извинительно не думаютъ о будущемъ; но что выработалось въ ней, выработалось крѣпко и здраво. Она уже сознала, что мужчина долженъ дѣлать дѣло, долженъ строго относиться къ жизни, а не удовлетворяться ласточкинымъ порханіемъ и срываніемъ „цвѣтовъ удовольствія“. И она прежде всего неотступно требуетъ этой дѣльности отъ любимаго человѣка.

Но ни сила характера, ни строгость внутреннего закала, не спасли чудную дѣвушку, при ея глубокомъ чувствѣ, отъ послѣдствій несчастнаго выбора.

Красивый и талантливый Веретевъ предался, какъ выражаются руссофилы, загулу и уѣхалъ куда-то съ цыганами; впоследствии, впрочемъ, мы встрѣчаемъ его на Невскомъ въ фуражкѣ и съ крашеными усами, горячо и ядовито отзывающагося о безпутности и свѣтской пустотѣ и удаляющагося въ накуренную бильярдную трактира, гдѣ онъ большею частію и пребываетъ.

Но для Маши онъ пропадаетъ; ея просьбы, требованія, любовь—все забыто, и самъ онъ бросаетъ ее одну съ ея неудовлетвореннымъ чувствомъ въ затишье. Понятно, какъ долженъ былъ отразиться такой поступокъ на дѣвушкѣ съ такой натурою, какъ Маша. Ея непривычка къ свѣтскимъ удовольствіямъ, чтенію—словомъ къ какому нибудь легкому и пріятному убиванію времени, строгость взгляда, не позволяющаго ей мириться съ мелочами и пошлостью, недостатокъ дѣла, которое бы замѣнило ей любовь—все усиливало въ ней ея глубокое чувство и всецѣло отдавало на жертву ему—и она сдѣлалась жертвой этого чувства.

Темный, долго тянувшійся осенній вечеръ стоитъ надъ маленькимъ деревенскимъ домикомъ. Вѣтеръ воетъ кругомъ; двое стариковъ отъ скуки играютъ въ шашки; мертвенность, скука, бездѣятельность царятъ здѣсь

вполнѣ. Этотъ застой нарушаетъ свойиъ прїѣздомъ практическій Астаховъ: посылаютъ за Машею. Мама выходитъ, но уже не та здоровая, самостоятельная и дѣятельная Мама, которую мы видѣли вначалѣ: „Румянецъ исчезъ съ ея похудѣвшихъ щекъ широкая черная кайма окружила ея глаза; горько сжались губы; все лицо ея неподвижное и темное казалось окаменѣлымъ“. Вечеръ прошелъ въ убійственной скукѣ; вспоминали дѣто, охали. Астаховъ подговаривался было, чтобы Мама спѣла что нибудь, но Мама и не отвѣтила ему. Прїѣздъ Астахова былъ, должно полагать, послѣдней каплей, которая переполнила чашу накопившейся горечи для бѣдной дѣвушки. Самъ по себѣ Астаховъ былъ для нея ничто, но онъ и его разговоръ напомнили ей тѣ короткіе, невозвратно ушедшіе, красивые дни, когда разцвѣтало и зрѣло ея чувство.

И вотъ, когда всѣ разошлись спать, бѣлая тѣнь мелькнула между облетѣвшихъ деревьевъ сада; глухо плеснула холодная вода въ прудѣ... еще минута — и все будетъ кончено. Но, когда смерть стала лицомъ къ лицу, молодая, за даромъ погибающая жизнь проснулась. Говорятъ, что когда человѣкъ погружается въ воду, то передъ нимъ вдругъ, мгновенно какъ-бы проносится вся пережитая жизнь. Необыкновенная возбужденность мозга допускаетъ возможность этого факта. Можетъ быть, въ это послѣднее мгновеніе, когда Мама погружалась въ темную воду, съ ней случилось

нѣчто подобное: вспыхнувшее послѣдней силой сознание можетъ быть сказала ей, что человѣкъ, изъ за котораго она гибнетъ, не стоитъ ея чувства, что самое чувство измѣняется, что жизнь хороша, и есть на землѣ нѣчто, кромѣ любви, столь же великое и глубокое. Какъ-бы то ни было, но она, сдумѣвшая-бы умереть молча—дрогнула. Крикъ о помощи два раза вырывается изъ встрепенувшейся груди, и этотъ крикъ слишкомъ поздно пробудившагося сознания—черта глубоко трагическая. Но пока его услышали, пока зажгли фонари и собрался испуганный людъ—смерть сдѣлала свое дѣло и холодная вода задушила могучую жизнь, не сдумѣвшую найти иного выхода...

V.

Л И З А.

(Изъ „Дворянскаго Гнѣзда“.)

Мы нѣсколько отступаемъ отъ хронологическаго порядка, занимаясь настоящей героиней прежде Натальи, влюбленной въ Рудина; но дѣло въ томъ, что Лиза не составляетъ необходимаго звѣна въ порядкѣ развитія русской женщины. Лаврецкій долженъ былъ явиться послѣ Рудина, какъ человѣкъ дѣла, хоть какогонибудь дѣла, послѣ человѣка мысли; но Лиза любитъ Лаврецкаго не по его социальному значенію,—

она полюбила его просто какъ честнаго и хорошаго человека. Она въ этомъ случаѣ не служитъ и указаніемъ постепеннаго, нравственнаго развитія нашей женщины и могла явиться раньше и позже; но она любопытна намъ въ другомъ отношеніи и даетъ намъ случай остановиться на другихъ вопросахъ. Поэтому мы и не выключаемъ ее изъ нашихъ этюдовъ.

Намъ опять придется быть свидѣтелями бесполезной гибели честной и энергической дѣвушки, но гибели еще болѣе грустной, чѣмъ утопившейся Маша. Лиза Калитина—молоденькая, хорошенькая дѣвушка, дворянка и помѣщица. Одѣвается она и держитъ себя просто, умно, степенно, не обладаетъ особыми талантами, но трудолюбива и набожна. Откуда въ ней явились эти качества, за исключеніемъ послѣдняго? трудно объяснить; трудно потому, что вообще не легко уловить причины, повліявшія на таковую или иную сторону характера, но еще труднѣе это сдѣлать у насъ, гдѣ жизнь складывается изъ группы такихъ совершенно случайныхъ и разнообразныхъ вліяній, что по здравому сужденію изъ всякаго русскаго дворянина должно бы выйти нѣчто въ родѣ тѣхъ блюдъ, которыя готовилъ гоголевскій поварь, имѣющій привычку валить въ кушанье все, что попадалось подъ руку, — лукъ такъ лукъ, сахаръ такъ сахаръ, а тамъ вкусъ какойнибудь да выйдетъ. Отчего у Лизы Калитиной является простота обращенія, склонность къ всему чест-

ному, справедливому? Бончено не отъ взяточника отца и пустѣйшей матери. Развѣ отъ той же няньки, которая приучила ее къ набожности? Быть можетъ! Нянька эта была дѣйствительно замѣчательнаго характера. Крестьянская, хорошенькая дѣвочка, выданная рано за мужика, потомъ баринова любовница, ходившая въ шелку, потомъ скотница, опять экономка, нянька, — она вездѣ держитъ себя одинаково ровно, вездѣ хорошо, не зазнается и не унижается, не гордится и не падаетъ. Такой характеръ, кончившій набожностью и удаленіемъ въ скитъ, конечно, могъ повліять на впечатлительную дѣвушку. А дѣвочка, Богъ вѣсть по какимъ причинамъ, сохранилась во многихъ отношеніяхъ весьма счастливо. Къ ней не пристали мелочность и дрянность матери и разныхъ Геденевскихъ, окружающихъ ее дѣтство. Но умственными способностями не блещитъ Лиза; онѣ въ ней совершенно дремлютъ. За Лизой ухаживаетъ пустой, свѣтскій пройдоха Паншинъ и проситъ ея руки. — Она не любить Паншина, но онъ, какъ говорится, ей не противенъ и она не различаетъ его пустоты и лживости и, видя желаніе матери, готова была выйти за него замужъ, по тѣмъ же побужденіямъ, по какимъ иной вовсе не чувствующій голода человѣкъ садится за столъ, когда его уговариваютъ: вѣдь надо же пообѣдать! Но Лизѣ подвертывается Лаврецкій, человѣкъ честный, прямой; онъ находится въ положеніи, возбуждающемъ

вниманіе Лизы; она съ нимъ, какъ съ роднымъ, скоро обближается и потомъ любить его.

Лаврецкій, какъ читатель можетъ быть припомнить, бросилъ въ Парижъ обманувшую его жену, которую любилъ страстно. Первый порывъ горя въ немъ утихъ, онъ пріѣхалъ домой и Лиза—совершенная противоположность его лукавой жены—привлекаетъ его своею правдивостью, искренностью и нѣсколько мистической наивностью. Эта миловидная наивность и искренность не позволяютъ Лаврецекому замѣтить, что въ хорошенькой головѣ его родственницы не все въ порядкѣ.

Безпорядокъ въ хорошенькой головѣ отерывается со второй встрѣчи. Лизу видимо что-то поразило въ положеніи Лаврецкаго, ей хочется что-то исправить въ немъ—и вотъ она робко, но настойчиво, спрашиваетъ Лаврецкаго, какъ онъ рѣшился оставить жену, „разлучить то, что Богъ соединилъ?“ Лаврецкій отвѣчаетъ ей, что его убѣжденія въ этомъ съ ея не сходятся. Лиза поблѣднѣла, слегка затрепетала, но продолжала настаивать на томъ, что Лаврецкій долженъ простить, „чтобы и его простили“. Кто простилъ и въ чемъ простилъ, — она не договариваетъ и вѣроятно весьма бы затруднилась объяснить, если-бы Лаврецкій догадался спросить ее. Но Лаврецкій замѣчаетъ только Лизѣ, что жена его чувствуетъ себя очень хорошо, что онъ ей дастъ деньги и предоставилъ свободу и

что ни въ какомъ прощеніи она нужды не чувствуетъ. Однако Лиза, съ той же засѣвшей въ ея головѣ какой-то занозой, возражаетъ, что если съ ними случилось несчастіе, то надо покориться „ибо, если мы не будемъ покоряться“... Но тутъ Лаврецкій не выдержалъ, всплеснулъ руками и топнулъ ногой. Мы бы должны были выписать всѣ разговоры Лизы съ Лаврецынымъ, если-бы хотѣли показать ту путаницу, которую несознанныя и находящіяся въ какомъ-то хаотическомъ беспорядкѣ религіозныя идеи произвели въ неразвитой молодой головѣ. „Христіаниномъ нужно быть не для того, чтобы познавать небесное... земное... а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть“.... говоритъ она, не безъ нѣкотораго усилія, Лаврецкому, и Лаврецаго, кажется, заражаетъ эта смутность понятій. Въмѣсто того, чтобы хотъ сколько нибудь разъяснить ихъ, онъ возражаетъ:

— Какое это слово вы произнесли...

— Это слово не мое... отвѣчаетъ Лиза.

Дѣйствительно это слово не ея должно быть, и не потому не ея, что (какъ разъ выразилось про себя ея горничная) у ней „своихъ словъ нѣтъ“, а потому что, видимо, эти слова услышаны ею въ дѣтствѣ, по всей вѣроятности отъ няньки, — да такъ и остались заученными, не продуманными, не переработанными сознаніемъ.

И вотъ дѣвушкѣ съ такими-то понятіями пришлось справляться съ положеніемъ, передъ которымъ

становятся въ тупикъ и не такіе, какъ ея головы. Лиза влюбляется въ Лаврецкаго, полагая, что жена его умерла и вдругъ оказывается, что жена эта жива и, вдобавокъ, съ самымъ беззащитнымъ лбомъ возвращается къ мужу. Бѣдная Лиза поражена, но она знаетъ, что дѣлать.

— Намъ обоимъ остается исполнить свой долгъ! говоритъ она Лаврецкому. Вы должны примириться съ вашей женой.

— Лиза!

— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все что было!

Читатель, незнакомый съ самой повѣстью, подумаетъ, что между Лизой и Лаврецынымъ было дѣйствительно нѣчто ужасное, что они совершили какое-то страшное преступленіе, требующее искупленія... А въ самомъ дѣлѣ было вотъ что. Они нечаянно встрѣтились ночью въ саду и Лаврецкій, думая, что онъ свободенъ, дерзнулъ сказать Лизѣ: „я васъ люблю, я готовъ отдать вамъ всю мою жизнь...“

— Это все въ Божьей власти, промолвила она. И когда голова Лизы опустилась къ нему на плечо, Лаврецкій „коснулся ея блѣдныхъ устъ“.

И такъ, вотъ ужасное злодѣяніе, за которое послано имъ—по мнѣнію Лизы—наказаніе! Вотъ преступленіе, которое нужно загладить!

Лаврецкій соглашается исполнить то, что Лиза считаетъ его долгомъ, и что въ сущности было сожн-

тельствомъ съ женой въ одномъ домѣ, которое бы прикрывало распутство жены.

— Ну, а въ чемъ же *вашъ* долгъ? спрашиваетъ въ свою очередь Лаврецкій, согласившійся исполнить то, что глупенькая Лиза считала его обязанностью.

Лиза не отвѣчала ему. Но скоро этотъ долгъ разъяснился: бѣдная дѣвушка сочла нужнымъ на-вѣки схоронить себя въ монастырѣ!

Прежде нежели мы сдѣлаемъ какой-нибудь выводъ изъ этого разбора, мы напомнимъ читателю одну изъ повѣстей того же автора „Дворянскаго гнѣзда“, озаглавленную „Странная исторія“. Въ этой повѣсти Тургеневъ рассказываетъ намъ о своемъ знакомствѣ съ другой дѣвушкой, съ дочерью богатаго помѣщика, которая тоже говорила ему и кажется еще во время мазурки о необходимости покоряться. Справедливость требуетъ замѣтить, что Софья, (такъ звали ее) и мазурку танцевала точно свершая какой-то долгъ.

Черезъ нѣсколько времени дѣвушка эта исчезаетъ изъ своего дома и авторъ встрѣчаетъ ее на постояломъ дворѣ, въ сарафанѣ, омывающею ноги какому-то полоумному, носящему вериги, грязному юродивому. Этого юродиваго дѣвушка избрала, какъ своего учителя, и всюду слѣдуетъ за нимъ.

И такъ, вотъ въ третій разъ мы встрѣчаемся съ русскими женщинами, покоряющимися тому, что онѣ называютъ „долгомъ“. Понятіе о долгѣ у всякаго мо-

жетъ быть различно; но тотъ долгъ, которому слѣдовали Татьяна, Лиза и Софья, имѣетъ одну общую черту покорности и преклоненія и составляетъ, повидимому, признакъ совершенно русскаго женскаго пониманія долга; Татьяна, Лиза и Софья носятъ на себѣ всѣ слѣды именно русской жизни, и разсказъ о послѣдней даже, какъ извѣстно, взятъ съ дѣйствительнаго событія. Да и не откуда выработаться такому пониманію долга, какъ не на русской, приниженной почвѣ; мы даже знаемъ, что Лиза и Софья почерпнули его прямо изъ народнаго слоя, прошедшаго черезъ дѣвичью въ дѣтскую, а Татьяна изъ той же барской дѣтской, съ примѣсью барской опочивальни.

Мы, разумѣется, не станемъ тратить время на доказательство вреда такого рода понятій, которыя честныхъ, энергическихъ и счастливо одаренныхъ дѣвушекъ обращаютъ въ самомъ цвѣтѣ жизни одну—въ холодную, великосвѣтскую ханжу, другую—въ монахиню, а третью—въ прислужницы къ цѣлоумному юродивому. Съ насъ достаточно только указать на вредъ всякихъ началъ, хотя бы и народныхъ, но принимаемыхъ безъ повѣрки, и на положеніе женщинъ того недавняго еще времени, когда ученіе и даже литература не указывали выхода, а, искабченныя до тупости преданія и ложныя ходячія понятія о долгѣ вели къ нравственному самоуниженію и физическому саморастлѣнію.

Татьяна Пушкина, Лиза и Софья Тургенева останутся надолго для размышляющих читателей печальными, придорожными крестами, говорящими о безвременной погибших молодых дѣвушкахъ, безцѣльно убитыхъ тѣмъ варварскимъ безсмысленнымъ проводникомъ, котораго дало имъ съ ложнымъ паспортомъ долга народное невѣжество и слѣпой фанатизмъ.

VI.

НАТАЛЬЯ И ЕЛЕНА .

(Изъ „Рудина“ и „Наканунъ“.)

Мы все еще не выходимъ изъ области любви и личныхъ увлеченій. Русскія дѣвушки, лучшія изъ русскихъ дѣвушекъ, еще не выбиваются изъ той глубокой колеи, въ которую старая жизнь вдвинула женщину, и не только у насъ, но и въ странахъ далеко насъ опередившихъ по своему развитію. Дѣвушка еще не думаетъ идти самостоятельно, прокладывать себѣ свою тропу; она еще не понимаетъ иной дѣятельности, какъ дѣятельность помощницы и послѣдовательницы мужчины, нѣаго пути, какъ по слѣдамъ своего избраннаго. Но и на этомъ пути закътна уже пережѣна. Строже и строже начинаетъ дѣвушка дѣлать выборъ и отдасть свое чувство, всю себя только такому че-

ловѣку, который пробуждаетъ въ ней струны, доселѣ не звучавшія. Это уже не струны, отзывающіяся лишь на вопросы личнаго счастія, или темныя, мистическія стремленія; тутъ пробуждается живая мысль и, вмѣсто извѣстѣ навязанныхъ формъ, является ясное сознаніе о служеніи дѣлу жизни. Слова: „правда“, „человѣческая свобода“, — впервые признаются устами русской дѣвушки.

Между названными нами женскими именами, Натальей Ласунской и Еленой Стаховой, по воспитанію, положенію и характеру — мало общаго. Наталья, дочь аристократки, да еще воспитанной нѣкогда поэтami, слывшей за умицу и имѣющей привычку собирать „салоны“. Ей всего семнадцать лѣтъ; она не успѣла еще и физически вполне развиться, была худа, смугла, слегка горбилась, но черты ея были красивы и правильны. Она дѣвушка спокойная, сосредоточенная, училась прилежно, читала и работала охотно, чувствовала глубоко и сильно, но не высказывалась; мать ея не подозрѣвала тайную работу ея мысли и была не высокаго мнѣнія объ умственныхъ способностяхъ дочери. „Наташа у меня къ счастію холодна“, говорила она, „не въ меня... тѣмъ лучше. Она будетъ счастлива“ и называла ее въ шутку *mon honnête homme de fille*. Мать, вѣроятно, чувствовала, что есть въ ея дочери нѣчто мужески-честное, чего въ себѣ и другихъ женщинахъ не встрѣчала. Прибавимъ къ этому, что На-

Наталию довоспитывала старая дѣва m-lle Boncourt, которая слѣдила за ней неотступно и заставляла читать историческія книги, что поклонникомъ ея былъ красивый, честный, но едва умѣющій говорить, отставной гвардеецъ, и что ничто, повидимому, не тяготило, не возмущало Наталию: она тихо думала и зрѣла. Не такова нервичная Елена. Въ выраженіи ея лица, внимательномъ и пугливомъ, въ ясномъ, но измѣнчивомъ взглядѣ, въ напряженной улыбкѣ, тихомъ и нервномъ голосѣ — было что-то электрическое, порывистое, нетерпѣливое. Все ее волновало, возмущало; вся она, даже въ походеѣ, словно стремилась къ чему-то. Не даромъ мать ея всегда тихо волновалась; только то, что въ матери было пріятное раздраженіе — у дочери вошло въ кровь. Происхожденіемъ Елена принадлежала къ тому среднему дворянскому кругу, въ жилахъ котораго есть кровь и русскихъ бояръ и татарскихъ князей, и Митюшкинѣловальнича; просторомъ пользовалась она полнымъ, за ней не слѣдовала никакая m-lle Boncourt и никто не мѣшалъ ей подружиться съ нищей дѣвочкой Катей, которой можетъ быть она обязана пробужденіемъ многихъ хорошихъ мыслей.

Но не смотря на всю противоположность по положенію и по натурѣ, у Наталии и Елены есть одна общая имъ нравственная черта; обѣ онѣ отозвались сердцемъ на голосъ людей дѣла, честнаго и жизненнаго дѣла; чувство ихъ не было однимъ порывомъ мо-

лодости, оно было сознательно и разумно; ихъ влекли не одни личныя достоинства ихъ избранныхъ, не ихъ способность, несчастіе, красота, или, какъ Вѣру въ Печорину, взоръ, „общающій блаженство“, — а цѣль жизни этихъ людей ихъ нравственный идеалъ. Стремленія этихъ дѣвушекъ были добровольны, даже самовольны, а не выпрошены или вынуждены болѣе или менѣе ловкимъ волокитствомъ; наконецъ, узнавъ свое разумное чувство—объ онѣ не торговались уже съ нимъ, не стѣснялись препятствіями и обстоятельствами, не справлялись съ чужимъ уставомъ, а смѣло шли впередъ и всѣ отдались влеченію, которое не было для нихъ само собѣ цѣлью, а становилось дѣломъ всей жизни. И въ этомъ отношеніи, сдержанная дочь аристократки едва-ли не станетъ еще выше демократической дворянки.

Въ деревенскій салонъ Дарьи Михайловны Ласунской,—она не только въ Москвѣ, но и въ деревнѣ устраивала „салонъ“,—въ этотъ салонъ на мѣсто ожидаемаго нѣбесаго замѣчательнаго барона, является никому неизвѣстный высокій, сутуловатый человѣкъ, лѣтъ 35, курчавый, смуглый, съ неправильнымъ, но выразительнымъ и умнымъ лицомъ, въ узкомъ и подержанномъ платьѣ. Называетъ онъ себя Рудиннымъ. Дарья Михайловна, какъ свѣтская барыня, принимаетъ гостя привѣтливо и вводитъ его въ разговоръ. Отъ гостя никто ничего не ожидаетъ особеннаго и да-

же жалкий Пигасовъ думаетъ на насъ поострить свой языкъ. Но сильные люди не долго остаются на узнавании. Малкіе уколы Пигасова вызвали у Рудина такіе отвѣты, съ которыми Пигасовнигъ ладить не въ кому-ту. На Рудина обращаютъ вниманіе; онъ сначала стѣсняется, но потомъ оживаетъ, говоритъ, и чрезъ нѣсколько минутъ все столпилось около него, смолкло и жадно слушаетъ: громъ загрозѣлъ! Да, это былъ громъ, предвѣстникъ того дожда, котораго такъ жадно ждали небрежные люди, скитавшіеся по пестраной степи тогдашняго времени; этотъ громъ былъ изъ той тучки, которая начала уже собираться на безжизненномъ небѣ. Наташа не принадлежала къ чающимъ; громъ былъ для нея совершенно неожиданъ, но онъ, какъ внешний громъ, вызвалъ въ ея душѣ такіа мысли, которыя безъ него, можетъ быть, никогда бы не явились у Наташи и умерли бы съ нею задавленныя окружающей гнилью, самой ей невѣдомыя, ею не со-
знанныя.

„Обиліе мыслей иѣдало Рудину выражаться ясно и точно,—говоритъ авторъ. Образы сѣялись образами, сравненіа, то неожиданно сѣяны, то поразительно вѣрны, возникали за сравненіями... Не само-довольной изысканностью опытнаго говоруна,—вдохновленіемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ, они сами послушно и свободно приходили къ нему на умъ, и каждое слово, казалось;

такъ и лилось прямо изъ души, нислало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва-ли не высшей тайной—музыкаю краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по одиѣмъ струнамъ сердца, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности о чемъ шла рѣчь, но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Всѣ мысли Рудина казались обращенными въ будущее; это придавало имъ что-то молодое и стремительное“.

Наташа вся обратилась въ слухъ. Лицо ея покрылось румянцемъ, взоръ, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ и заблесталъ. Возвратясь къ себѣ въ комнату, она не могла заснуть: голова ея была наполнена совсѣмъ новыми для нея мыслями и страшно работала; всю ночь она пролежала съ глазами устремленными въ темноту и ни на минуту не сомнула ихъ...

Рудинъ остался гостить у Ласунской и часто бесѣдовалъ съ Наташей. Наташа жадно внимала его рѣчамъ. Она старалась выискнуть въ ихъ значеніе; она повергала на его судъ всѣ свои мысли, всѣ сомнѣнія: Рудинъ былъ ея наставникомъ, болѣе — ея воздѣмъ. Онъ читалъ ей замѣчательнѣйшія произведенія нѣмецкой литературы, объяснялъ ихъ, и дивные образы, новыя, свѣтлыя мысли такъ и лились въ душу; и въ

сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо всплывала и разгоралась святая искра восторга. Сначала одна голова кипѣла у Натани, но, говорить авторъ, „молодая голова кипить не долго“... Наташа полюбила Рудина.

Мы не будемъ слѣдить, какъ закралась любовь въ это молодое сердце. Наташа сама сначала не сознаетъ своего чувства; она робко, едва высказываетъ его, но когда Рудинъ говоритъ, какъ онъ счастливъ ея любовью, Наташа переспрашиваетъ его, дѣйствительно ли такъ, и, получивъ увѣренія, приподняла стыдливо опущенную голову, обратилась къ Рудину молодымъ, взволнованнымъ лицомъ и твердо сказала:

— Знайте же, я буду ваша!

Вотъ какъ отвѣтила Рудину современная ему дѣвушка. Да! это были смѣлыя и честныя слова, особенно смѣлыя и честныя въ устахъ 17-ти лѣтней дѣвушки, съ дѣтства приучаемой къ сдержанности, съ колыбели и до развитія неотступно стерегомой какимъ нибудь аргусомъ въ родѣ m-lle Beonscourt. Какая великая разница между этимъ прямымъ, изъ сердца идущимъ, хотя и стыдливо высказаннымъ, отвѣтомъ и тѣмъ „обратитесь къ папашѣ“, которымъ отвѣчаютъ, обыкновенно, на признанія свѣтскія дѣвушки иныхъ Ласунскихъ!... И слова эти были не напрасны. Когда объясненіе Наташи было подслушано и доведено до свѣдѣнія матери ея услужливымъ прихвостнемъ и дву-

смысленной должности секретарей Пандалевскихъ, Наташа сама назначаетъ Рудину послѣднее и рѣшительное свиданіе—на которомъ все должно опредѣлиться окончательно.

Читатель, можетъ быть, помнитъ это тяжелое свиданіе, гдѣ человѣкъ, проповѣдовавшій о трудѣ, независимости и смѣлости,—не нашелъ ничего лучшаго, какъ посовѣтовать отдающейся ему дѣвушкѣ—покориться. Не на то шла Наталья, не того она ожидала, и разочарованіе ея должно быть ужасно.

— Я не о томъ плачу, о чемъ вы думаете, говорить она. Мнѣ не то больно, мнѣ больно то, что я въ васъ обманулась. Какъ! я прихожу къ вамъ за совѣтомъ, и въ какую минуту, и первое ваше слово: покориться!.. Покориться?!. Такъ вотъ какъ вы принимаете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, жертвахъ, которыя... Голосъ ея прервался.

— Вы спрашиваете меня, что я отвѣтила моей матери, когда она объявила мнѣ, что скорѣе согласится на мою смерть, чѣмъ на бракъ мой съ вами: я ей отвѣтила, что скорѣе умру, чѣмъ выйду за другаго замужъ. А вы говорите: покориться! Стало быть она была права: вы точно, отъ нечего дѣлать, отъ скуки пошутили со мной...

Рудинъ сталъ увѣрять ее и успокоивать.

— Вы такъ часто говорили о самопожертвованіи, перебила она, но знаете ли, если-бы вы сказали мнѣ

егодня, сейчасъ: „я тебя люблю, но жениться не могу, я не отвѣчаю за будущее, дай мнѣ руку и ступай за мной“, знаете ли, что я бы пошла за вами, знаете ли, что я на все рѣшилась. Но вѣрно отъ слова до дѣла далеко и вы теперь струсили точно такъ же, какъ струсили третьяго дня, за обѣдомъ передъ Волыцевымъ“...

Вотъ что говорила бѣдная, разочарованная дѣвушка. Да, она была права въ своихъ упрекахъ. Рудинъ вдвойнѣ обманулъ ее: онъ обманулъ ее какъ мужчина и обманулъ, какъ путеводитель. А между тѣмъ и Рудинъ былъ не виноватъ. Объяснимся.

Женщины всѣмъ сжедаломъ прошлой жизни приучены видѣть въ мужчинѣ силу, силу нравственную и физическую, которая всегда ихъ подавляла. Преклоняться передъ этой силой онѣ привыкли; это преклоненіе ставилось имъ въ заслугу, въ обязанность, болѣе того, ихъ приучили гордиться своимъ преклоненіемъ, и между ними есть имена, блистающія этимъ преклоненіемъ.

Вслѣдствіе этого сложившагося взгляда, въ глазахъ женщинъ нѣтъ ничего позорнѣе мужчины слабосильнаго—нравственно ли или физически. Слабосиліе, конечно, во всякомъ случаѣ—недостатокъ и огромный, но женщины взяли его себѣ въ собственность, да еще ухитрились считать его своимъ украшеніемъ. Онѣ съ тайнымъ презрѣніемъ смотрятъ на тѣхъ, кто ихъ щадить, кто слишкомъ бережно обходится съ ихъ пре-

клоненной волей, кто считается съ нѣкъ слабосиліемъ. Женщина проститъ, оправдаетъ, будетъ проклинать насиліе, но она не будетъ его не уважать: Вѣра—Гончарова—не презирала Волохова, Татьяна—Пушкіна—не читала бы наставленіе Ояѣгину, если бы тотъ поступилъ съ нѣю, какъ съ отдающейся ему горничной; женщина на всѣхъ ступеняхъ общества, все еще, прежде всего, та женщина, изъ которой насиліе мужчины сдѣлало себя прислужницу, почитательницу, рабу, но не равноправную подругу. Такъ—да простятъ намъ современныя женщины это сравненіе—рабы и лакеи въ думѣ презирають господъ, которые съ ними за-пани-братъ и не достаточно барски обходятся съ ними. Такъ Наташа, въ пылу гнѣва, упрекаетъ Рудина въ томъ, что онъ струсилъ взять ее, когда она вся без-отвѣтно готова была отдаться ему: черта замѣчательная! Она не утерпѣла также, чтобы не попрекнуть Рудина трусостью передъ Волынцевымъ, хотя его нежеланіе отвѣтить въ чужомъ домѣ рѣзкостью на рѣзкость едва ли произошло отъ трусости.

Когда мысль о трусости явилась въ головѣ Наташи и Рудинъ не опровергъ ея, любовь ея уже была кончена. Рудинъ, въ ея глазахъ, оказался, по выраженію Пигасова, „куцымъ“, а женщины куцыхъ не любятъ: онѣ ихъ презирають. Какъ учитель, какъ вождь, Рудинъ тоже, какъ мы видѣли, обманулъ ожиданія Наташи. Недаромъ она говоритъ ему: „такъ-то

вы принимаете на дѣлѣ ваши толкованія о свободѣ, жертвахъ“. Рудинъ оказался передъ ней въ положеніи того чародѣя, который могъ вызывать духовъ, но съ тѣмъ только, чтобы задавать имъ работу; онъ вызвалъ духъ самопожертвованія, независимости, воли въ молодой дѣвушкѣ, и не могъ дать дѣла этому духу: за это онъ долженъ былъ въ ея глазахъ погибнуть и — онъ гибнетъ.

Нѣтъ ничего тяжелѣе впечатлѣнія, которое производитъ на читателя это свиданіе и то унижительное положеніе, въ которомъ явился тутъ Рудинъ. Вамъ вчужѣ больно, вчужѣ обидно за него и тѣмъ болѣе обидно и больно, что ваше внутреннее чувство оправдываетъ Рудина, что вы замѣчаете тутъ какое-то недоразумѣніе, какую-то фальшивую ноту, безъ которой Рудинъ явился бы-совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ.

Въ другихъ статьяхъ мы говорили собственно о Рудинѣ и его значеніи, какъ дѣятеля, и потому распространяться о немъ съ этой стороны нечего; но здѣсь мы постараемся только разъяснить его отношенія къ Натальѣ, отношенія Рудинныхъ къ женщинамъ.

У Тургенева есть рассказъ, подъ заглавіемъ „Андрей Колосовъ“. Этого Колосова одинъ изъ его пріятелей выставляетъ замѣчательнымъ человекомъ, что подтверждаетъ рассказомъ о томъ, какъ Колосовъ, разлюбивъ одну дѣвушку, тотчасъ бросилъ ее,

а пріятелю сказалъ прямо, что бросилъ, потому что не любитъ болѣе.

Рудинъ уялъ навѣки въ глазахъ Наташи оттого, что въ немъ не доставало такой же искренности, какъ у Болосова, или, лучше сказать, самъ Рудинъ не понималъ своего положенія и не умѣлъ разъяснить его Наташѣ.

Письмо, которое Рудинъ, уѣзжая, оставилъ Наташѣ, только въ половину намъ разъясняетъ и оправдываетъ Рудина. Въ немъ правды только одно признаніе, что онъ не любитъ Наташи, и самъ былъ обманутъ своими чувствами; все остальное, сказанное о себѣ, самосужденіе, самоуниженіе, самоопѣнка — не вѣрны и неправильно поставлены. Рудинъ долженъ былъ сказать: „да, я ошибся, я не любилъ васъ, не любилъ по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы любовь убила во мнѣ рефлексію, не любилъ настолько, насколько вы ожидали. Жертва, независимость, все, о чемъ я говорилъ, все великія и прекрасныя вещи, но онѣ должны быть принимаемы у мѣста, въ дѣлу того стоющему. Вы приносите себя въ жертву мнѣ, любви ко мнѣ, а мнѣ жертва эта не нужна и принять ее, съ моей стороны, было бы безчестно. Я вамъ говорилъ прежде: женщина, которая любитъ, въ правѣ требовать всего челоуѣка, а я ужъ отдаться весь не могу; поэтому-то и безчестно мнѣ принимать вашу жертву, тѣмъ болѣе, что эта жертва вся приносится лично мнѣ и не мо-

жить служить моему дѣлу! Да и мое дѣло не такое дѣло и вы не можете раздѣлить его со мною, не потому, чтобы я былъ слишкомъ високъ для васъ, и вамъ не чета, но потому, что у васъ нѣтъ призванія въ моему дѣлу, потому что дѣло всякаго создается для него его жизнью. Мои слова не расходятся съ дѣломъ; я колоколъ который будить людей. Но если проснувшійся не знаетъ, что дѣлать, если его руки связаны, а онъ не въ силахъ развязать ихъ, сыскать свои рабѣ и приниматься за нее—это не вина колокола“. Вотъ что, по нашему мнѣнiю, долженъ былъ сказать Рудинъ: положенiе бѣдной Натальи было бы отъ этого не легче, но Рудинъ не упалъ бы въ ея глазахъ.

Но оставимъ Рудина и обратимся къ Натальѣ. Рудинъ сказалъ ей: я сближался со многими женщинами и дѣвушками; но, встрѣтись съ вами, я въ первый разъ встрѣтился съ душой совершенно честной и прямой. Такова въ самомъ дѣлѣ была Наталья. Откуда въ ней взялась эта честность и прямота среди обстановки, ее выросившей — это опять останется сложной психологической задачей, но откуда явились тѣ задатки стремленiй къ дѣлу, которые пробудили въ ней Рудинъ, мы можемъ прослѣдить. Не даромъ мать ея считалась умной женщиной и окружала себя поэтами и вслѣдствiемъ замѣчательными людьми. Слова этихъ людей, можетъ быть урывками, печально, но

западали въ душу маленькой дѣвочки, которая подъ пастью m-lle Boncourt, незамѣчаемая сидѣла въ гостиной и слушала: дѣти понимаютъ болѣе, нежели полагають взрослые, и случайно услышанное умное, честное слово приносить свой плодъ.

И вотъ эта, такъ богато надѣленная дѣвушка встрѣчается съ однимъ изъ сильнѣйшихъ людей своего времени. Казалось бы, какое счастливое обличіе! Дѣйствительно, оно и подѣйствовало на Наташу сначала въ высшей степени благотворно; оно развило дѣвучку, пробудило въ ней мысли и стремленія, безъ того бы, но всей вѣроятности, въ ней заглохшія. Но на бѣду, ея стремленія къ дѣлу не отдѣлились отъ стремленія къ человѣку, ихъ пробудившему. Женищина ея, времени еще не думала пробивать своей тропы; она еще привыкла идти не иначе, какъ по слѣдамъ мужчины и служить не своему дѣлу, а дѣлу человѣка ея любимаго. Благо и то. Все-таки это служеніе дѣлу, хоть и козвенное, и служеніе хорошее, когда нѣтъ лучшаго. Къ несчастію, Рудинъ былъ не такой человѣкъ, который бы могъ отдаться всей любви молодой пылкой дѣвочки. Дѣло его, имъ самимъ несознанное, было ей не по способности, проповѣдникъ и вождь умѣлъ будить силы, но не умѣлъ указывать имъ выходъ. И вотъ молодой, сильный и честный порывъ дѣвочки на первомъ шагѣ встрѣчаетъ препятствіе, убивающее доселѣ множество молодыхъ силъ, — препятствіе

бездѣтельности; хуже того, въ ней подорвалась ея вѣра въ тѣ идеалы, къ которымъ она стремилась. Она усомнилась въ возможности ихъ достиженія. И она была права: эти идеалы были дѣйствительно и недостижимы, и непрактичны. Недостижимы они были потому, что одиночной силѣ дѣвушки, какъ бы тверда и настойчива она ни была, ихъ не достигнуть ни тогда, ни нынѣ; непрактичны потому, что это были еще старыя идеалы, требующіе великихъ и блистательныхъ подвиговъ, необыкновенныхъ порывовъ тогда какъ жизнь допускала только мелкій, невзрачный, но упорный жизненный трудъ, подготовку матеріаловъ, изъ которыхъ сильная рука современности создастъ зданіе. Понятно, что при такихъ условіяхъ дѣвушка, самая честная, но одинокая, воспламененная до самопожертвованія, но не приготовленная къ дальнему и тяжелому пути и даже не знавшая этого пути, должна была глубоко разочароваться и опустить руки. Такъ было и съ Натальей. Она говоритъ Рудину: „Я чувствую, во мнѣ что то надломилось“. Дѣйствительно, ранн несчастной, неудачной любви залечатся, но энергія ея, ея вѣра надломились и не залечатся. Между русскими дѣвушками бѣдной Натанѣ суждена была участь того солдата, который, воодушевленный начальникомъ, вырвался впередъ одинъ изъ восстающей массы и былъ подстрѣленъ на первомъ шагу, въ первой битвѣ. Будутъ еще тысячи другихъ жертвъ, но тѣ пойдутъ

стройной силой, падутъ въ битвѣ, но доставятъ побѣду, а бѣдный подстрѣленный воинъ будетъ лежать въ душевной больницѣ, молча раскаиваться въ своемъ порывѣ и роптать на вожда, котораго онъ послушалъ!

Наташа вышла замужъ за нѣкоего Волынцева, ограниченнаго, но честнаго, глубоко преданнаго ей человека.

Тѣ, которые мѣряютъ людей старой мѣрой саженныхъ менументовъ и, лежа на постели, обзываютъ паденіемъ всякій обыденный шагъ,—увидать, можетъ быть, паденіе Наташи и въ этомъ замужествѣ. Да, Наташа дѣйствительно унала изъ героинь,—она подстрѣлена и неспособна искать новыхъ дорогъ, но она осталась той же честной и прямой душой, какою и была; путь ея впалъ въ обыкновенную колею, но это будетъ практичный, осмысленный, ею избранный путь и нѣтъ сомнѣнія, что она пойдетъ по немъ разумно и твердо. Слова Рудина, пробудившія въ ней мысль, не пропадутъ даромъ. А въ ея время—да и въ наше,—дай Богъ побольше такихъ женщинъ, хотя бы и на такихъ дорогахъ...

Мы уже говорили, что въ противоположность сдержанной Натальи, Елена является послѣ и до встрѣчи съ Инсаровымъ порывистой, нервной, впечатлительной. Ей двадцать лѣтъ и она вся подготовлена къ силь-

ному чувству: она ждет, жаждет, ищет его. Ей начиналъ было нравиться непостоянный и подвижной, как воздухъ, художникъ Шубинъ, но онъ съ своей вѣтренностью не сумѣлъ удержать ее; она начинаетъ сближаться съ степеннымъ и честнымъ молодымъ ученикомъ Берсеневымъ и уже подумываетъ „не онъ-ли?“ и можетъ быть влюбилась бы въ него, если-бы самъ Берсеньевъ, жалея угодить ей склонности къ необыкновенному, не возбудилъ ея воображенія разсказами объ Инсаровѣ. Инсаровъ болгаръ. Когда ему было лѣтъ семь, мать его похитилъ какой-то ага и зарѣзалъ; отецъ хотѣлъ отыскать за жену, но не нашлся и былъ расстрѣленъ; самъ Инсаровъ хочетъ не мести — хочетъ освободить родину! Не достаточно ли такой обстановки, чтобы привлечь вниманіе впечатлительной, скажемъ прямо, романической дѣвушки? Сухая, нѣсколько жесткая, обыденно-простая наружность Инсарова мало соответствовала ожиданіямъ дѣвушки; не такимъ она воображала себѣ „героя“. „Обаянія нѣтъ, шарму“, говоритъ про него Шубинъ; но шармъ всегда является, когда хочешь его найти. Недогадивый Берсеньевъ все описываетъ да восхваляетъ необыкновеннаго человѣка. Елена, избравъ случай, сама спрашиваетъ Инсарова про трагическую смерть родителей, про его родину, планы, Инсаровъ воодушевляется и Елена слушаетъ съ пожирающимъ, глубокимъ и печальнымъ вниманіемъ: шармъ произшелъ, Елена влюбилась.

Влюбленная Елена дѣйствуетъ также, какъ и влюбленная Наталья: она не смотритъ на препятствія, она отдается вся любимому человѣку, но Инсаровъ человѣкъ молодой, цѣльный, не заѣденный рефлексіей—и онъ беретъ Елену... впрочемъ, приведя все въ порядокъ, вступленіемъ въ законный бракъ.

Дальнѣйшая судьба Елены известна: Она ѣдетъ съ мужемъ возстановлять болгаръ, но Инсаровъ въ Венеціи умираетъ. Тамъ же и Елена не возвращается на родину; она отдаетъ себя дѣлу мужа и пропадаетъ безслѣдно въ Болгаріи.

Еленою у насъ привыкли восхищаться и становить ее образцомъ русской дѣвушки. Елена, дѣйствительно, особенно послѣ Татьяны, Мери и Лизы, явленіе отрадное; она появилась въ то время, когда еще не разъяснился взглядъ на женское дѣло—и ее признали идеаломъ. Теперь мы видимъ другія задачи для русской дѣвушки и должны свести Елену на ея настоящее мѣсто.

За Еленою считаютъ ту главную заслугу, что она первая взялась за дѣло и посвятила себя ему. Но такъ ли это? За свое ли дѣло взялась она? Сознательно ли выбрала его? Къ сожалѣнію, мы должны отвѣчать отрицательно. До появленія Инсарова Еленѣ не было никакого дѣла до болгаръ; она, вѣроятно, едва знала объ ихъ существованіи; она могла ихъ почувствовать, сожалѣть о нихъ, но идти ихъ освобож-

дать, какъ она освобождала муху отъ лапъ паука, ей, русской дѣвушкѣ, разумѣется и въ голову не приходило. Распространяться объ этомъ излишне. Елена увлеклась дѣломъ, потому что это было дѣло большое, честное, — но вмѣстѣ и романтическое.

Наташа Ласунская увлеклась дѣломъ, о которомъ говорилъ Рудинъ, прежде, нежели увлеклась имъ сама. Оно и понятно: не совсѣмъ опредѣлительная, но увлекательная и сильная рѣчь о правдѣ, добрѣ и истинѣ не могла остаться мертвой для такой прямой и честной души, какъ ея; она справедливо видѣла въ Рудинѣ вождя, открывающаго новые пути и радостно отдавалась ему и его дѣлу. Рудинъ обманулъ ея ожиданія; онъ ей не далъ и не указалъ дѣла, но нѣтъ сомнѣнія, что слова его не остались безплодными, и многое отъ него слышанное она сама приняла въ послѣдствіи къ жизни.

Елена напротивъ. Она увлеклась Инсаровымъ, какъ героемъ и хотѣла помогать ему, а не собственно дѣлу. Значеніе Инсарова есть значеніе политическаго дѣятеля: онъ предтеча ожидаемаго въ то время русскаго общественнаго дѣятеля. По той же причинѣ, какъ первая въ литературѣ дѣвушка, оцѣнившая значеніе общественнаго дѣла, подкупаетъ насъ и Елена. Но когда выясняется, что дѣло для Елены становится на второмъ планѣ, а главную роль играетъ увлеченіе человѣкомъ, то значеніе видимо измѣняется. Всякій,

взнакомый съ общественнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ, могъ назвать памятные имена русскихъ дѣвушекъ и женщинъ, пошедшихъ въ сѣтра и каторжныя тюрьмы Сибири за своими мужьями и возлюбленными, которые, въ эпоху предшествующую нашимъ героинямъ или современную Софьѣ Фамусовой, пытались стать политическими вождями. Слѣдовательно, порывъ Елены не новъ, такія женщины были и задолго до нея. Но это нисколько не умаляетъ ея достоинства. Елена первая изъ литературныхъ героинь, послѣ періода глубоко нравственнаго упадка, напомнила намъ свѣтлые образы этихъ женщинъ, хотя все-таки это была не „новая женщина“. Шубинъ правъ; „если-бы у насъ были люди, подобные Инсарову, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка“ говорить оцъ. Елена искала замѣчательнаго человека, человека дѣльнаго, человека дѣла, а главное дѣла большаго, а у насъ въ этотъ родъ, кромѣ Курнатовскихъ, дѣятелей изъ училища правовѣдѣнія, иныхъ не представлялось. Если же и были у насъ дѣятели достойные, то ихъ дѣло было такое невидное, трудное дѣло, что Елена и не оставила бы на нихъ вниманія: она не дѣвушка мысли, она дѣвушка съ сильно развитымъ хотя и честно направленнымъ воображеніемъ.

Если-бы Берсенева, вмѣсто того, чтобы распространяться о зарѣзанной матери и разстрѣленномъ отцѣ Инсарова и его тайственныхъ исчезновеніяхъ и такой

же дѣятельности, жистѣ разъяснилъ Еленѣ значеніе истиннаго героизма и незыбчатнаго труда, которые намъ, русскимъ, особенно нужны—можетъ быть Елена взглянула бы иначе на Инсарова, можетъ быть она пришла бы, и отдаваясь новому труженнику и не сдержанная себя въ Болгаріи. Но это самопожертвованіе для страны чуждой и дѣла не роднаго, самопожертвованіе потому преимущественно, что это была страна и дѣло человѣка любимаго, дѣлаешь болѣе чести сердцу Елены, нежели ей сознательному выбору. Впрочемъ, будемъ вполне справедливы; мудро-ли было увлеченъ большой и яркой цѣлью честной, восторженной и любящей женщины, когда кругомъ-ея была такая мракота, духота и печальный мракъ. Мы не найдемъ ничего лучшаго, какъ привести здѣсь слова Добролюбова, которыми онъ оправдываетъ рѣшимость Елены. „И какъ хорошо, говорить онъ, что она.. приняла эту рѣшимость! Что въ самомъ дѣлѣ ожидало ее въ Россіи? Гдѣ для нея тамъ цѣль жизни, гдѣ жизнь? Возвратиться опять къ несчастнымъ котятъ и мухамъ, подавать нищимъ деньги; но ее выработанныя и Богъ знаетъ какъ и почему ей доставшіяся, радоваться успѣхамъ художника Шубина, трактовать о Шеллингѣ съ Берсеневымъ, читать матери „Московскія Вѣдомости“, да видѣть какъ на общественной аренѣ подвизаются *правила* въ видѣ Бурнатовскаго и нигдѣ не видѣть настоящаго дѣла, даже не слышать вѣянія новой жизни... и по-

немногу медленно томиться, вянуть, хирѣть, замирать... Нѣтъ, уже если разъ она попробовала другую жизнь,дохнула другимъ воздухомъ, то легче ей броситься въ какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избѣгла нашей жизни и не оправдала на себѣ эти безнадежно-печальныя, раздражающія душу предвѣщанія поэта, такъ постоянно и безошибочно оправдывающіяся надъ самыми лучшими, избранными натурами въ Россіи:

Вдали отъ солнца и природы,
Вдали отъ свѣта и искусства,
Вдали отъ жизни и любви,
Мелькнутъ твои молодые годы;
Живныя помертвѣютъ чувства;
Мечты разлѣются твои.
И жизнь твоя пройдетъ незрима
Въ краю безлюдномъ, безымянномъ,
На незамѣченной землѣ,
Какъ исчезаетъ облакъ дыма
На небѣ тускломъ и туманномъ
Въ осенней безпредѣльной мглѣ».

Да! прибавимъ мы отъ себя, неказистая и незавидная участь ждала у насъ Елену и лично для нея было дѣйствительно лучше, что она ушла, — но лучше-ли это для остающихся, лучше-ли вообще для дѣла?

VI.

НОВЫЯ ЖЕНЩИНЫ.

Съ эпохи шестидесятихъ годовъ между появившимися такъ называемыми „новыми людьми“ заняла принадлежащее ей мѣсто и „новая женщина“. Стремленіе къ самостоятельности и самодѣятельности, проявившееся во всемъ обществѣ, и на ней отразилось весьма ярко и опредѣленно. При этомъ, нѣжная и прекрасная половина рода человѣческаго, какъ называли ее прежде, оказалась, какъ мы увидимъ, не только нѣжной и прекрасной, но и болѣе настойчивой и практичной, нежели мужчины. Такъ по крайней мѣрѣ мы должны заключить изъ тѣхъ успѣховъ, съ которыми женщины достигли и еще стремятся достигать своихъ цѣлей.

Развитія до извѣстной степени женщины, достаточно обезпеченныя матеріально, чтобы не заботиться о кускѣ хлѣба, привыкали и привыкають отчасти и нынѣ, за отсутствіемъ всякой умственной дѣятельности, жить исключительно жизнью чувства. Весьма естественно, что при первомъ пробужденіи сознательности, эти женщины прежде всего обратили и вниманіе на чувство, и именно на чувство, составлявшее главный двигатель ихъ жизни, т. е. на любовь, и захотѣли поставить его на почву правды и искренности.

Но чувство любви всего болѣе встрѣчаетъ препятствій и усложненій въ замужней женщинѣ. Поэтому, замужняя женщина и является главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ первой новой постановкѣ вопроса.

Преждѣ, когда женщинѣ, связанной законнымъ бракомъ съ мужемъ, случалось влюбиться въ другого человека, она, если могла сладить съ этимъ чувствомъ, обыкновенно становилась на пьедесталъ современной ходячей нравственности (всякое время и каждый народъ имѣють, какъ извѣстно, свои понятія о нравственномъ) и говорила какъ Татьяна:

Но я другому отдана;
Я буду вѣкъ ему вѣрна!

или, если сладить съ чувствомъ была не въ силахъ, то какъ Вѣра Лермонтова, трепеща отъ страха, тайкомъ отдавалась любимому человеку, обманывала мужа, свѣтъ, ежеминутно боясь, что ея обманъ откроется и, какъ принято говорить, покроетъ ее позоромъ. Были еще практическія женщины, которыя находили и третій исходъ. Онѣ брали любовниковъ, охраняя условную вѣрность, и затѣмъ мало заботились какъ къ этому относится мужъ и свѣтъ; а если же имъ дѣлали замѣчаніе или намеки, то онѣ отвѣчали какъ законники старыхъ судовъ: „буква соблюдена—какое же вы имѣете право придирааться къ сущности?“ И свѣтъ и

мужъ оставляли ихъ въ покоѣ. Но такія женщины представляютъ образецъ житейской покладливости, а не потрясающихъ столкновений или смѣлой повизны и потому ими обыкновенно мало занимаются. Въ русской литературѣ, къ сожалѣнію не было Бальзака, который бы избралъ ихъ въ героини, и критика не имѣетъ случая подробно ими заняться и указать ихъ значенію. Новая женщина въ дѣлѣ чувства поступаетъ не такъ. Если она связана съ однимъ человѣкомъ и чувствуетъ склонность къ другому, она борется съ нею насколько хватаетъ ея силъ, потому что эта склонность нарушаетъ сложившійся строй ея жизни, ставитъ ее въ безполезный разладъ съ семьей, съ обществомъ. Но когда она не находитъ въ себѣ болѣе силъ на борьбу, она откровенно заявляетъ о томъ мужу, которому общалась вѣрность. Такъ поступила „Наташа“ (въ Подводномъ Камнѣ), такъ поступила „Вѣра Павловна“ (въ „Что дѣлать“). Надо отдать справедливость и ихъ мужьямъ, которые поняли, что когда чувство переходитъ въ страсть — оно становится болѣзью и что болѣзнь эту убѣжденіями, препятствіями или угрозами вылечить нельзя. Поэтому, эти мужья не только не прибѣгаютъ къ правамъ, имъ предоставленнымъ законами и обычаями темной массы почти всехъ странъ, но сами, по возможности, стараются облегчить бѣднымъ больнымъ тѣ утраты и лишенія которыя влечетъ за собою удовлетвореніе ихъ страсти. Примѣръ въ этомъ случаѣ

поланъ имъ былъ еще Саксомъ (въ „Полингъ Саксъ“ Дружинина), а мужъ изъ „новыхъ людей“, Лопухинъ, простираетъ свою услужливость до того, что дѣлаетъ видъ самоубійства, бѣжитъ въ Америку, возвращается оттуда съ именемъ и паспортомъ гражданина Соединенныхъ Штатовъ,—словомъ, дѣлаетъ незаконныя вещи, чтобы дать своей женѣ возможность соединиться съ другимъ на законномъ основаніи. Конечно, это уже чересчуръ! Было бы слишкомъ много требовать, чтобы мужа, для того, чтобы дать возможность женѣ выйти замужъ за человека ею любимого и тѣмъ избѣжать непріятностей положенія, непризнаваемаго обществомъ—сами подвергали себя, переселенію въ страны не открытыя еще извѣстнымъ русскимъ путешественникомъ Макаромъ и его телатами. Скажемъ болѣе: такое разрѣшеніе вопроса вовсе не желательно, а желательно, чтобы разладъ, вносимый въ установившуюся жизнь чувствомъ, преодолевающимъ расчеты разсудка, улаживался какъ можно спокойнѣе и выгоднѣе для обѣихъ сторонъ. Люди, умѣвшіе стать выше предразсудка и находить этотъ исходъ въ откровенномъ разрывѣ, а практическіе мужья, продающіе своихъ женъ, даже умѣютъ и оградить союзъ любящихся законнымъ бракомъ, не прикидываясь для этого самоубійцей и не отправляясь въ Америку.

Вообще, вопросъ столь существенный въ жизни женщины, какъ соединеніе съ мужчиной, выводится

современной женщиной на болѣе искреннюю и твердую почву. Нынѣшняя дѣвушка находитъ, что бракъ не есть соединеніе двухъ любящихся голубковъ, а прочный и здраво обсужденный союзъ двухъ сочувствующихъ другъ другу лицъ на трудъ и дѣло жизни. Современная дѣвушка не только не отрицаетъ брака, какъ полагаютъ нѣкоторые: она вполне признаетъ его значеніе и важность въ жизни и потому строить его на твердой почвѣ согласованія большихъ по возможности условій для спокойнаго и счастливаго сожительства, а элементъ страстнаго чувства, съ которымъ невозможно спорить, а иногда и бороться, какъ ненормальный и случайный, ставитъ совершенно отдѣльно.

Такъ какъ мы отвели мѣсто вопросу любви въ статьяхъ о героиняхъ, то здѣсь кстати будетъ сказать, что (кромѣ исканія выхода изъ тѣхъ столкновеній, гдѣ чувство идетъ въ разрѣзъ съ общепринятыми условіями), вообще самое понятіе о любви поставлено позднѣйшею литературой совершенно на иную почву: женщина, для которой въ прежнія времена любовь служила ореоломъ и подножіемъ, нынѣ срываетъ драпировку съ этого чувства и низводитъ его на настоящій уровень. Начать съ того, что современная женщина не дѣлаетъ для себя изъ любви единственнаго кумира, исключительную цѣль и занятіе жизни. Она ищетъ, какъ мы видѣли, другаго, болѣе обширнаго поля дѣятельности. Далѣе. Она увидала, что любовь иде-

1 альная, мечтательная любовь, не имѣющая подѣ собою
2 почвы, которая тѣмъ не менѣе считалась нѣкогда са-
3 мымъ возвышеннымъ, первѣйшимъ сортомъ любви, есть
4 пустое и вредное раздраженіе и самое глупое препро-
5 вожденіе времени. Наконецъ, нѣкоторыя женщины пы-
6 тались завоевать въ дѣлѣ любви хотя часть тѣхъ
7 правъ—конечно въ свободѣ выбора, а не легкости и
8 развратности его—которыя приобрѣли или, лучше ска-
9 зать, отмежевали себѣ мужчины и не стали соеди-
10 нять съ нею условныхъ, рыцарскихъ понятій о чести,
11 которыя невѣсть почему приплетены къ ней, а замѣ-
12 нять ихъ понятіями о честности, т. е. прямотѣ и
13 разумности дѣйствій. Всѣ эти стороны предмета вмѣс-
14 тѣ взятыя, выраженные иногда въ частностяхъ жен-
15 щинами, болѣе представительницами идеи, чѣмъ типовъ,
16 ставятъ вопросъ чувства и любовныхъ отношеній на
17 положительную и разчищенную почву и снимаютъ его
18 съ тѣхъ размалеванныхъ облаковъ, на которыя взмо-
19 стили его, если не сами грубые и глупые рыцари, ко-
20 торые съ женщинами обращались какъ съ рабынями,
21 то по крайней мѣрѣ рыцарская и романическая лите-
22 ратура.

Начавъ дѣло исканія самостоятельности и равно-
правности съ вопроса о чувствахъ, женщины послѣдняго
десятилѣтія не остановились на немъ, а повели его
дальше, перенося на экономическую почву. Въ предъ-
идущихъ очеркахъ мы видѣли рядъ женщинъ, которыя

задачу своей жизни ставили въ помощи мужчинъ и служеніи дѣлу имъ избранному, — и если возвышали свои требованія до служенія общечеловѣческимъ интересамъ, то и ихъ пытались удовлетворить не непосредственно, а тоже черезъ мужчину, или научая и ободряя этого мужчину или ему содѣйствуя. Позднѣйшія женщины стремясь и въ этомъ случаѣ отдѣлать себя отъ зависимости мужчины, въ то же время понимали, что эта зависимость и закрѣпощенность произошли отъ чисто экономическихъ условій и потому перенесли и свои заботы прежде всего на упроченіе своей экономической независимости, на пріобрѣтеніе своего куска хлѣба. Это исканіе честнымъ трудомъ заработать свой кусокъ хлѣба сдѣлалось преобладающей чертою дѣвушки, выставленной новѣйшей литературой („Живая душа“, „Свой хлѣбъ“). Она указываетъ намъ между прочимъ на тотъ утѣшительный фактъ, что здравая современная мысль пробилась себѣ дорогу въ такіе классы женщинъ, для которыхъ въ прежнія времена она была недоступна, и что главный составъ „новыхъ женщинъ“ какъ и „новыхъ людей“ дали сословія не пользующіяся экономической обезпеченностью. Понятно, что для такихъ женщинъ вопросъ о возможности заработать собственный кусокъ хлѣба своимъ честнымъ трудомъ и открытіе къ тому способовъ есть первый и существеннѣйшій вопросъ въ жизни. Это вопросъ ихъ освобожденія.

Но къ несчастію экономическая жизнь не только въ Россіи, но и въ другихъ болѣе развитыхъ странахъ стоитъ еще на такомъ уровнѣ, что самый упорный и постоянный женскій трудъ доставляетъ трудящейся дѣйствительно не много болѣе одного куска хлѣба. Тяжелая жизнь гувернантки, учительницы, швеи, освобождая дѣвушку отъ своего домашняго гнета, налагаетъ на нее гнетъ нанимателей и все-таки не даетъ возможности къ самостоятельной жизни. Самые успѣшныя средства освобожденія на которыя указываетъ намъ позднѣйшая литература—это тотъ самый старинный и ежедневный способъ, къ которому прибѣгала и прежде дѣвушка—освобожденіе съ помощію мужчины—замужство. Такъ, Вѣра Павловна, сколько ни искала съ Лопуховымъ возможности вырваться изъ семьи, не нашла ничего лучшаго, какъ выйти за него замужъ и жить большею частію его трудомъ. Такъ, Щетинина (въ повѣсти „Трудное время“) ищетъ самостоятельной дѣятельности сначала съ помощію мужа, потомъ его пріятеля, котораго готова полюбить. Разница въ этомъ случаѣ между прежнею и новою женщиною та, что первая съ замужествомъ перемѣняла только одинъ гнетъ на другой, тогда какъ нынѣшняя дѣвушка выбираетъ осторожнѣе и смотритъ независимѣе, а современный взглядъ на отношеніе къ женщинамъ въ большинствѣ нынѣшняго молодаго поколѣнія, бывшій въ прежнія времена удѣломъ только людей самыхъ раз-

витыхъ, облегчаетъ ей этотъ выборъ. Но что и современная женщина не можетъ еще обойтись безъ помощи мужчины, въ томъ нѣтъ ничего страннаго: жизнь скачковъ не дѣлаетъ, и тотъ, кому въ теченіе вѣковъ не позволялось ходить на своихъ ногахъ, рѣдко и трудно можетъ встать безъ поддержки дружественной руки.

До сихъ поръ мы говорили о женщинахъ, добивающихся только своего куска хлѣба, но кусокъ хлѣба не есть цѣль, чего не понимаютъ нѣкоторые современные авторы; онъ только средство, это только первый шагъ къ независимости. Поэтому, посмотримъ на тѣхъ болѣе счастливыхъ женщинъ, которыя по своему положенію могутъ обойтись безъ этого тяжелаго шага, зачастую поглощающаго энергію и трудъ цѣлой жизни.

Вѣра Павловна (романа „Что дѣлать“), имѣющая возможность, благодаря мужу (объ урокахъ ея уцѣмляется только всколзъ и то вначалѣ) нѣжиться въ постелѣ и пить чай съ самыми густыми сливками, задумывается на досугѣ придти на помощь трудящейся женщинѣ и заводить женскую швейную на началахъ общаго труда. Швейная эта процвѣтала, и по ея примѣру завелись другія швейныя и тоже начали процвѣтать, и вѣроятно (по крайней мѣрѣ, въ романѣ) растились бы, множились и населили Петербургъ еще болѣе, если-бы не встрѣтилось извнѣ какихъ-то пре-

пятствій. Послѣ этого Вѣра Павловна, выйдя уже за-
мужъ за Кирсанова, приходитъ къ другой мысли. Она
говорить, что сфера женской дѣятельности, кромѣ се-
мейныхъ обязанностей, чрезвычайно узка и потому на
открытыхъ для нея уже тропинкахъ, какъ напримѣръ,
обязанности гувернантки и проч., толпится слишкомъ
много желающихъ и потому надо расширить по воз-
можности этотъ кругъ дѣятельности. Чтобы открыть
новые пути, нужно бороться съ препятствіями, нужно
опираться на дружескую руку. Вѣра Павловна не нуж-
дается въ средствахъ къ жизни, и потому можетъ
жертвовать временемъ и энергіей для борьбы, вначалѣ
всегда неблагодарной и часто безуспѣшной; она въ
лицѣ любимого мужа имѣетъ дружескую руку, слѣдо-
вательно, поставлена въ положеніе самое благопріятное.
Поэтому она считаетъ своею обязанностию работать
въ этомъ смыслѣ на пользу женщины и пробуетъ сдѣ-
латься женскимъ медикомъ. И такъ, устройство общаго
труда и расширеніе круга дѣятельности для жен-
щинъ—таковы первыя попытки и средства къ улуч-
шенію положенія женщины, предлагаемыя женщиной
60-хъ годовъ.

У второй замѣчательной женской личности, выстав-
ленной намъ позднѣйшей литературой, стремленія шире,
но не опредѣленнѣе. — Марья Николаевна Щетинина
жила въ деревнѣ съ мужемъ. Въ молодой красивой
помѣщицѣ кипѣла жажда жизни и жизни не эгоистич-

ной, а полной, разумной общественной жизни. Марья Николаевна помогала по силамъ крестьянамъ, искала дѣятельности, не совсѣмъ удовлетворялась своею, но думала, что она все-таки дѣлаетъ нѣчто. Пріѣздъ стараго товарища ея мужа, разбитаго жизнью свептика и непримиримаго отрицателя, Рязанова, и разговоры съ нимъ выказали ей всю затрапезную изнанку ея жизни. Марья Николаевна вспылила, ссорится съ мужемъ и упрекаетъ его, что онъ сдѣлалъ изъ нея ключницу.

„Ты мнѣ сказалъ (говорить она про время сватовства) „мы будемъ вмѣстѣ работать, мы будемъ дѣлать великое дѣло, которое можетъ быть погубить насъ, и не только насъ, но и всѣхъ нашихъ; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете въ себѣ силы, пойдемте вмѣстѣ“. Я и пошла. Конечно, я тогда была еще глупа, я не совсѣмъ понимала, что ты тамъ мнѣ рассказывалъ. Я только чувствовала, я догадывалась. И я пошла-бы куда угодно. Вѣдь ты видѣлъ, я очень любила мою мать и я ее бросила. Она чуть не умерла съ горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я вѣрила, что мы будемъ дѣлать настоящее дѣло. И чѣмъ же все кончилось? Тѣмъ, что ты ругаешься съ мужиками изъ за каждой копейки, а я огурцы солю да слушаю какъ мужики бьютъ своихъ женъ и хлопаю на нихъ глазами. Послушаю, послушаю, потомъ опять примусь огурцы солить. Да, если-бы я желала быть такою, какою ты меня сдѣлалъ, такъ я бы вышла за какого нибудь Шишкина, теперь у меня можетъ быть ужъ трое дѣтей было-бы. Тогда я по крайней мѣрѣ знала-бы, что я самка, что я мать, знала-бы что я себя гублю для дѣтей, а теперь... Пойми, что я съ ра-

достою пошла бы землю копать, если-бы это нужно было для общаго дѣла. А теперь... Что я такое? Экономка господина Щетинина; просто на просто экономка, которая выдываетъ каждый грошъ и только и думаетъ о томъ: ахъ, какъ-бы кто не съѣлъ лишняго фунта хлѣба! Ахъ, какъ-бы!... 'какая гадость!

— Маша! подходя къ ней, дрожащимъ голосомъ сказала Щетининъ; схвативъ ее за руку. Маша что ты говоришь? Да вѣдь... ну, да... да вѣдь я люблю тебя. Ты понимаешь это?

— Да я тебя люблю... сдерживая слезы, говорила она, я понимаю, что и ты—ты ошибся, да я то, не могу я такъ. Поими, не могу я... огурцы солить“...

Въ этой выходѣ и уворахъ Марьи Николаевны много неопредѣленныхъ порывовъ, много молодого задора; но нельзя не признать, что женщина въ положеніи Марьи Николаевны, особенно не будучи матерью, можетъ и должна дѣлать нѣчто болѣе, чѣмъ солить огурцы.

Вспышка на первый разъ не имѣетъ видимыхъ послѣдствій. Но всякая зародившаяся мысль, какъ растеніе, какъ животное, должна прожить свою жизнь, должна развиться, созрѣть и умереть,—и чѣмъ глубже и шире мысль, тѣмъ она сильнѣе пускаетъ корни и упорнѣе развивается. Такъ было и съ мыслью о несостоятельности настоящей дѣятельности, пробудившейся въ головѣ Марьи Николаевны: съ жадной иного лучшаго дѣла. Но такъ какъ женская мысль болѣе,

чѣмъ мужская, подвержена вліянію того, что мы называемъ чувствомъ, тѣснѣе, въ таинственномъ процессѣ своего развитія, связана съ чувственными впечатлѣніями, болѣе подчиняется имъ и въ свою очередь болѣе на нихъ вліяетъ, — то Марья Николаевна вскорѣ начинаетъ любить того, кто разъяснилъ ей ея настоящее положеніе, далъ ея мыслямъ новое направленіе, точно также какъ она полюбила сначала и за то же самое, обманувшаго ея ожиданія, Щетинина. Она почти сама признается, сама предлагаетъ свою любовь Рязанову и хочетъ идти съ нимъ рука объ руку.

Въ этой любви Марьи Николаевны мы еще рѣзче замѣчаемъ черту уже проглядывающую у позднѣйшихъ женщинъ. Это уже женщина, для которой любовь отодвигается на второй планъ; она ищетъ въ любви только средства для достиженія своего идеала жизни. Тургеневскія Елена и Наташа увлекались вслѣдъ за поразившими ихъ мужчинами; Вѣра Павловна искала въ замужствѣ съ Лопуховымъ средства освободиться отъ своей печальной семейной жизни, она преслѣдовала цѣль личную: Марья Николаевна ищетъ, въ жизни съ мужемъ и потомъ Рязановымъ, средства служить общественному дѣлу, но она неидетъ слѣпо за вожаками и, какъ скоро видитъ, что ни тотъ ни другой служить ей не могутъ, она охладѣваетъ къ нимъ, — ихъ бросаетъ. Не менѣе замѣчательно и отношеніе къ ней Рязанова. Это уже не человѣкъ, который ищетъ

только „срывать цвѣты удовольствія“ съ любимой женщиной, это также и не фразеръ, который говоритъ какъ Щетининъ: „пойдемъ дѣлать общее дѣло“ — тогда какъ знаетъ, что общаго дѣла они никакого не сдѣлаютъ... Но стремленія молодой женщины и особенно объясненія ея съ Рязановымъ такъ любопытны и своеобразны, что мы позволимъ себѣ цѣликомъ выписать ихъ изъ подлинника.

„Марья Николаевна пришла къ промокшему отъ дождя Рязанову во флигель, поить его какъ заботливая хозяйка малиной съ ромомъ, а между тѣмъ, допытывается какова его жизнь и получаетъ въ отвѣтъ, что «это и не жизнь совсѣмъ, а такъ какая-то дребедень, про которую и сказать нечего».

Она, разумѣется, не вѣритъ этому и полагаетъ, что Рязановъ не хочетъ быть съ ней откровеннымъ.

— Неужели я этого не стою? Послушайте, вдругъ заговорила она и протянула ему руку. Хотите вы быть моимъ другомъ? а? Хотите?

Рязановъ молча, не глядя ей въ лицо, пожалъ ея руку, потомъ осторожно освободилъ свою и положилъ ее на столъ.

Марья Николаевна, покачнувшись къ нему, ждала, что онъ скажетъ.

— Да, наконецъ выговорилъ онъ, это, конечно, очень пріятно, только...

— Что?

— Только я право не понимаю, какая же между нами можетъ быть дружба, кончилъ онъ въ полголоса, какъ будто самъ съ собой разсуждалъ; ничего изъ этого не выйдетъ.

— А если вы не понимаете, скороговоркой прибавила она, такъ я вамъ скажу, что я уѣзжаю отсюда.

— То есть какъ? Совсѣмъ?

— Да, совсѣмъ. Между мной и моимъ мужемъ все кончено. Я свободна.

— Вотъ какъ, глядя въ полъ тихо произнесъ Рязановъ.

— Теперь я бы желала только одного, все больше и больше воодушевляясь говорила Марья Николаевна, я бы желала устроить такъ мою жизнь, чтобы я могла всѣ силы, всѣ способности мои употребить на то, чтобы хоть въ чемъ нибудь вамъ быть полезной. Я много не желаю, мнѣ хотѣлось-бы только хоть чуть-чуть помогать вамъ въ вашихъ занятіяхъ. Что вы мнѣ скажете, то я и буду дѣлать. Сначала, конечно, мнѣ будетъ нужна ваша помощь, потому что я вѣдь ничего не умѣю; а потомъ я попривыкну по немногу. Такимъ образомъ мы и будемъ помогать другъ другу....

— Въ чемъ?

— Какъ въ чемъ?!

— Подумали-ли вы, въ чемъ-же это мы съ вами будемъ помогать другъ другу? И какое это такое занятіе вы нашли, я не понимаю хорошенько. Учиться что-ли мы будемъ другъ у друга или такъ просто жить?... Да нѣтъ постойте! Прежде всего вотъ что: вы-то собственно зачѣмъ ѣдете?

— Вы все-таки не знаете?

— Все-таки не знаю.

— Хорошо. Я вамъ скажу. Я ѣду для того, что-бы начать новую, совсѣмъ новую жизнь. Мнѣ эта опротивѣла; эти люди мнѣ гадки да и вся эта деревенская жизнь. Я могла жить здѣсь до тѣхъ поръ, пока я еще ждала чего-то,

однимъ словомъ, пока я вѣрила: теперь я вижу, что больше ждать мнѣ нечего, что здѣсь можно только наживать денегу, да и то чужими руками. Къ помѣщикамъ и ко всѣмъ этимъ хозяевамъ я чувствую ненависть, я ихъ презираю; мужиковъ мнѣ конечно жаль, но что же я могу сдѣлать? Помочь имъ я не въ силахъ, а смотрѣть на нихъ и надрываться я тоже не могу. Это невыносимо. Ну, скажите же теперь вѣдь это правда? Вѣдь не зачѣмъ мнѣ больше здѣсь оставаться? Да?

— Да, разумѣется, если ужъ это вамъ такъ противно.

— Вы это такъ говорите... Мнѣ кажется вы не желаете, чтобы я ѣхала?

— Напрасно вамъ это кажется. Напротивъ, я желаю, чтобы вы дѣлали именно то, что вамъ хочется; но кромѣ того я желаю еще получить отвѣтъ на вопросъ, который я вамъ сдѣлала: зачѣмъ вамъ хочется туда?

Онъ показалъ на окно.

— Что васъ влечетъ dahin, dahin? Уже не думаете ли вы серьезно, что тамъ растутъ лимоны?

— А знаете-ли, въ самомъ дѣлѣ, какъ я представляю себѣ, что такое тамъ? Я всегда воображала, что тамъ гдѣ-то живутъ такіе отличные люди, такіе умные и добрые, которые все знаютъ, все расскажутъ, научатъ какъ и что дѣлать, помогутъ, пріютятъ всякаго, кто къ нимъ придетъ.... однимъ словомъ хорошіе, хорошіе люди...”

Но эти мечтанія о хорошихъ людяхъ, какъ и прочія мечты Маріи Николаевны, Рязановъ убиваетъ горько насмѣшливымъ отвѣтомъ, уже разъ приведеннымъ нами, что хорошіе люди перевелись, а осталась медвежья, которая, впрочемъ, всё дѣла справить, всё

артели заведетъ, на законномъ основаніи, и пріютить и порядки покажетъ...

Молодая женщина, разумѣется, не удовлетворилась этимъ разумнымъ отвѣтомъ жестоко охлажденнаго чело-вѣка, понявшаго всю пустоту неясно опредѣленныхъ и нехорошо обдуманыхъ стремленій; она просто даже не повѣрила тому, чему не хотѣлось ей вѣрить; еще болѣе осталось неудовлетвореннымъ то чувство ея къ Рязанову, о которомъ она старалась дать понять ему, но на это чувство она хотѣла добиться положительнаго отвѣта, черезъ него думаетъ забраться въ душу Рязанова и узнать тѣ сокровенныя мысли, которыя такъ влекутъ ее къ нему и которыя онъ такъ упорно таитъ отъ нея.

— Вы мнѣ все-таки не сказали.... Вы мнѣ ничего положительнаго не сказали о томъ.... она замялась и все ниже и ниже нагибаясь къ столу, съ разстановкой, почти шопотомъ прибавила:

— Неужели вы не знаете до сихъ поръ....

— Я знаю только одно, перебилъ ее Рязановъ, и самымъ положительнымъ образомъ знаю, что я завтрашній день уйду.

— Куда, быстро поднимая голову, спросила Марья Николаевна?

— Да это смотря потому, какъ... вообще въ разныя мѣста.

Марья Николаевна не спускала съ него глазъ и все еще ждала чего-то.

— Больше къ югу, прибавилъ Рязановъ.

Она не шевельнулась, даже не вздрогнула и продолжала

по прежнему смотрѣть на него, хотя по глазамъ ея видно было, что она уже не ждетъ ничего и мысли ея полетѣли дальше.

Слышите? Молодая женщина сама почти признается въ любви,—молодой человѣкъ рѣзко отказывается отъ нея, но прежде чѣмъ почувствовать оскорбленіе „мысли ея полетѣли дальше“. Ясно, что не любовь двигала этой женщиной, что любовь являлась тутъ какъ подспорье, подкралась по старой женской привычкѣ класть въ мысль свое чувство съ тою разницей, что тутъ наоборотъ чувство закралось въ мысль.

Но какъ бы ни была скрытна любовь, дѣло не обошлось безъ тайной и болѣзненной борьбы съ той и съ другой стороны.

— Время подходить ненастное, продолжалъ Рязановъ, глядя въ окно, дождь идетъ. Видите погода-то какая сволочь!

Марья Николаевна все смотрѣла на него и должно быть не слышала; взглядъ ея перешелъ съ Рязанова на стѣну и остановился; на лицѣ у нея ничего не выражалось: она была совсѣмъ неподвижна и только вдругъ какъ то осунулась, точно послѣ трудной болѣзни.

Рязановъ замолчалъ и началъ пристально всматриваться въ нее. Слегка нахмуривъ брови, онъ водилъ глазами по всему ея лицу, по вытянутымъ и неподвижно лежащимъ на столѣ рукамъ ея, а самъ въ тоже время основательно и не торопясь мялъ свои собственные руки такъ, что пальцы на нихъ хрустѣли; потомъ хотѣлъ было вздохнуть, набралъ воздуха, но сейчасъ же закусилъ губу и подавилъ этотъ вздохъ потомъ всталъ и задѣлъ за столовую ножку.

— А?! вдругъ очнувшись, пугливо спросила Марья Николаевна.

Рязановъ молча доставалъ съ окна какую-то книгу.

Она провела по лицу рукой, посмотрѣла вокругъ и наступивъ на платье, ничего не замѣчая, сдѣлала было нѣсколько шаговъ къ двери, но тутъ остановилась и обернулась. Рязановъ стоялъ потупившись у окна съ книгою въ рукѣ. Марья Николаевна взглянула на него и ровнымъ холоднымъ голосомъ сказала:

— Прощайте!

— Куда вы? Тихо спросилъ онъ.

— Я ѣду.... то есть теперь я иду домой, а потомъ поѣду....

— Туда?

— Да, туда, твердо сказала она и пошла къ двери.

— Желаю вамъ успѣха, не трогаясь съ мѣста проговорилъ онъ уже въ то время, когда она уходила изъ комнаты, и почти въ то-же мгновеніе изо всей силы швырнулъ книгу подъ столъ и, схвативъ себя обѣими руками за волосы, бросился впередъ.... Но тутъ же остановился, опустил руки, покачалъ головой, улыбнулся и сталъ ходить по комнатѣ.

Мы привели эту характеристическую сцену, чтобы сказать послѣднее слово о любовныхъ отношеніяхъ, которымъ мѣсто отвели въ статьѣ о героиняхъ. Здѣсь, въ этомъ молчаливомъ разрывѣ, мы видѣли женщину, для которой любовь уже на второмъ планѣ. И со стороны этой женщины и борьба, и страданіе не сильны и не дорого стоятъ. Онъ гораздо сильнѣе и тяжелѣе для мужчины. Рязановъ если не сильно любитъ, то жажда зарождающейся страсти, любовь красивой, жо-

лодой, образованной и энергичной женщины, которая сама протягивает ему руку—все должно было обязательно подѣйствовать на этого разбитого, бездомного и одинокаго скитальца. Но Рязановъ человекъ дѣйствія, человекъ дѣла и дѣла общественнаго, а не личнаго, онъ видитъ, что ничего прочнаго не выйдетъ изъ этой любви, изъ этой связи, что сама эта женщина, наконецъ, любить не его, но ту ясно выработанную цѣль, то дѣло, которое она видитъ въ немъ и которыхъ — онъ это знаетъ—не можетъ онъ ей дать, потому что нѣтъ ихъ пока у него самого. Значить надобно все разорвать! Это говорить ему его честный и трезвый умъ и Рязановъ, чего бы то ни стоило ему, разрываетъ. И тутъ надо отдать Рязанову справедливость, онъ разрываетъ такъ, какъ долженъ разорвать человекъ, всецѣло посвятившій себя суровому дѣлу. Онъ разрываетъ сухо, почти грубо, безъ фразъ, но за то прочно. Нѣтъ ни словъ, ни намековъ, выдающихъ надежду и сожалѣніе, оставляющихъ какую нибудь пищу чувству, нѣтъ никакихъ фразъ и красивой рисовки. Операція сдѣлана чисто и твердо и за то исполненіе будетъ скоро и прочно!

Оно такъ и было. Вотъ какъ происходило разставанье.

На другой день, когда Рязановъ собрался уѣзжать и простился съ Щетининымъ, молодая хозяйка оставила его, когда онъ проходилъ мимо залы, тоже чтобы проститься.

Лице ея было совершенно спокойно, даже какъ будто торжественно, и напоминало то выраженіе, какое было на немъ три мѣсяца назадъ, когда Рязановъ только что пріѣхалъ въ деревню.

— Мы съ вами, начала она, столько говорили все дѣто, что...

— Все уже переговорили, подсказалъ Рязановъ.

— Нѣтъ еще не все, сухо замѣтила она. Такъ какъ говорили больше вы, а я все только слушала, то теперь ваша очередь выслушать, что я вамъ скажу *)

— Слушаю-съ, наклоняя голову, сказалъ Рязановъ.

— Я хотѣла... во первыхъ, я хотѣла поблагодарить васъ за все, что вы для меня сдѣлали и кромѣ того еще за вчерашній разговоръ.

Рязановъ стоялъ передъ нею наклонивъ голову, опустивъ глаза и слушалъ.

— За это объясненіе я *особенно* вамъ благодарна. На словѣ „особенно“ она сдѣлала удареніе.

— Этимъ объясненіемъ вы предостерегли меня отъ очень важной ошибки. Въ эту ночь я пережила душевный кризисъ, но теперь ужъ совсѣмъ здорова. Вы помогли мнѣ въ этомъ. Вы можете быть и сами не знали, какую оказали мнѣ услугу. Но я вамъ должна сказать еще одну вещь, которая васъ, вѣроятно, удивитъ. Слушайте! Всѣ ваши разсужденія,

*) Какъ это напоминаетъ отвѣдъ Татьяны въ послѣднемъ ея объясненіи съ Онегинымъ: „сегодня очередь моя!“ Но какая безконечная разница между взглядами женщинъ, да и отношеніями къ нимъ мужчинъ! Вотъ гдѣ болѣе всего видно насколько тѣ и другія ушли впередъ въ этотъ промежутокъ времени, въ своемъ развитіи.

все, все рѣшительно я помню и знаю, что это такъ, что вы мнѣ все правду говорили....

— Да-съ.

— Но, странное какое дѣло, представьте, что сегодня я ужъ вамъ не вѣрю, то есть я какъ-то вамъ именно не вѣрю... Это васъ удивить конечно.

Но Рязановъ не удивляется и находитъ, что такъ и быть слѣдовало.

— Не вѣрьте никому и мнѣ въ томъ числѣ: тѣмъ лучше, меньше будетъ душевныхъ кризисовъ, меньше ошибокъ.

— Нѣтъ, я на это не согласна, отвѣчаетъ молодая женщина. И они холодно простились.

Все это совершенно послѣдовательно, совершенно жизненно, и доказываетъ въ авторѣ, кромѣ художественнаго таланта, правдивое отношеніе къ дѣйствительности. Молодая полная жизни женщина не можетъ примириться съ сухимъ скептицизмомъ человѣка, только что вырвавшагося изъ страшныхъ когтей перелома; она не можетъ вовсе не вѣрить и въ то же время не можетъ вѣрить человѣку, къ которому только что охладѣла. Правъ былъ Рязановъ, объяснивъ на прощанье Щетинину истинную причину его и своей размовки и съ молодой женщиной:

— „Основаніе тутъ, братъ, жизнь. Жить хочетъ женщина; а мы съ тобой такъ только, въ качествѣ благородныхъ свидѣтелей, участвуемъ въ этомъ дѣлѣ. И роли-то наши самыя пустыя: ты ей нуженъ былъ для того, чтобы освободиться отъ матери, а ее отъ

тебя освободилъ, а отъ меня ужъ она сама освободилась; теперь ей никто не нуженъ, — сама себя госпожа“...

Да! Молодая женщина хочетъ жить полной свободной жизнью. Она, какъ видимъ, освободилась отъ мужа и мужъ (отдадимъ ему эту справедливость) не пользуется имѣющеюся въ его рукахъ возможностью удержатъ жену. Молодая женщина ищетъ полноты жизни и, какъ слѣдуетъ ожидать отъ развитой женщины, ищетъ ее въ дѣлѣ самомъ честномъ и жизненнымъ, въ трудѣ на расширеніе женской жизни. Она бросаетъ свое теплое, свитое уже гнѣздо, мужа, котораго еще недавно любила, всѣ удобства привольной жизни — и идетъ *туда*... Что же ждетъ ее въ этомъ *тамъ*? Попадеть-ли она въ эту мелкоту, которая, по выраженію Рязанова, всѣ дѣла справляетъ и пріютить, и порядки ей свои и артели укажетъ? Или она попадетъ въ другой болѣе трезвый и сдержанный кружокъ?

Приведенная нами повѣсть не говоритъ о дальнѣйшей участи Щетининой, какъ Рязановъ не даетъ ей самой отвѣта, на жадно выспрашиваемый ею вопросъ — „что дѣлать?“ Но послѣдняя литература уже отвѣтила на этотъ вопросъ и отвѣтила нѣсколько иначе чѣмъ романъ, носящій это заглавіе. Мы знаемъ, что Щетинину встрѣтитъ утомительная борьба, что ей удастся, можетъ быть, создать какое-нибудь маленькое

дѣло для себя, но что общему дѣлу она принесетъ мало пользы или по крайней мѣрѣ пользу отрицательную. Тяжелыми усиліями и почти непреодолимыми препятствіями, встрѣчающими одинокихъ труженицъ, ничтожностью достигаемыхъ результатовъ, она можетъ быть доказать, какъ доказываютъ намъ много другихъ героинь современныхъ повѣстей, ту мысль, которую мы имѣли уже случай высказать въ одномъ литературномъ произведеніи, что единичныя усилія отдѣльныхъ лицъ мало помогаютъ дѣлу, что для этого нужны общія усилія всѣхъ женщинъ и, что важнѣе всего, усилія правильно организованныя и разумно руководимыя.

И требованія современной женщины по счастью таковы, что эта организація не нуждается ни въ какой тайнѣ и не можетъ ожидать неодолимыхъ препятствій...

VIII.

И Т О Г Ъ.

Подведемъ итогъ тѣмъ окончательнымъ выводамъ, къ которымъ привелъ насъ критическій анализъ, сдѣланный нами героинямъ русской литературы.

Этотъ рядъ героинь начинается, какъ бы по заказу, именно такой дѣвушкой, которую прежде всего

должно было выставить общество временъ нравственнаго упадка, временъ общества чисто „свѣтскаго“, въ которомъ женщины не дошли ни до какихъ серьезныхъ вопросовъ, въ которомъ имъ чуждо строгое и критическое отношеніе къ какиимъ либо сторонамъ жизни, кромѣ стороны чисто внѣшней—соблюденія приличія. Для свѣта Софья Павловна Фамусова—красивая, умная, прекрасно воспитанная и образованная дѣвушка, строгой нравственности; въ нее влюбленъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ молодыхъ людей того времени, но она дурачить этого человѣка потому, что онъ эцентриченъ, что „этихъ въ немъ особенностей бездна“ и свѣтъ ей рукоплещетъ; она идеаль приличной московской свѣтской дѣвушки и завидной невѣсты. Въ сущности же Софья Павловна невѣжественнѣйшая, неразвитая дѣвушка, умѣющая только говорить по-французски. Она не понимаетъ къ чему ѣздить за границу учиться и искать ума; любить она ничтожнѣйшаго и презрѣннѣйшаго человѣка, или лучше сказать и не любить, а развратничаетъ отъ скуки съ нимъ, потому что этотъ человѣкъ подъ рукой, потому что съ нимъ всего легче скрыть отъ всѣхъ свои развратныя свиданія. Она не прочь даже выйти за него замужъ, потому что по нравственной ничтожности Молчалинъ совершенно олицетворяетъ сложившійся у московскихъ барынь того времени идеаль мужа—мужа безгласнаго, мужа-лакея для посылокъ и сопровожденія на балъ. На-

конецъ самая Немезида, самая трагическая судьба, разразившаяся надъ преступной нарушительницей свѣтскаго устава, вполне дорисовываетъ и героиню и ея сферу. Немезида эта сплетня, —скандальная хроника, воплотившаяся въ кабую-то княгиню: „Ахъ Боже мой, что станетъ говорить княгиня Марія Алексѣвна! восклицаетъ Фамусовъ, и выше этого страшнаго наказанія нѣтъ ничего ни для Софьи, ни для ея отца!

Слѣдующая героиня, Татьяна, переноситъ насъ изъ столицы въ деревню и показываетъ русскую дѣвушку почти современную Софьи въ ея, еще такъ сказать, сыромъ видѣ, мало попорченную гувернантками въ родѣ м-мъ Розье и сферой столичнаго свѣта. И эта дѣвушка, не смотря на свою дикость и малоразвитость прелестна; въ ней есть сила, есть страстность. У нея только нѣтъ еще никакихъ требованій отъ жизни, никакого на нее строгаго взгляда, ее не заботятъ никакіе вопросы, кромѣ вопроса женщины-производительницы: вопроса о возлюбленномъ. Но и тутъ она уже, и по природнымъ качествамъ и по воспитанію на романахъ, является нѣсколько разборчивой: ее окружаютъ много уѣздныхъ вздыхателей, но она не удовлетворяется ими, она ждетъ чего-то лучшаго и этотъ лучшій является въ лицѣ, дѣйствительно замѣчательномъ по тогдашнему времени —въ сосѣдѣ Онѣгинѣ. Дѣвушка полюбила его и отдается вся своему чувству. Не смотря на свою стыдливость и на поня-

тія окружающей среды, она сама признается Онѣгину въ своей любви и если-бы Онѣгинъ сказалъ ей, что любить ее, но не можетъ на ней жениться—мы не думаемъ, чтобы Тани задумалась надъ всякимъ самопожертвованіемъ. Но Онѣгинъ не любитъ Тани и честно ей это высказываетъ. Тогда жизнь Тани надломилась—и не мудрено! У Тани не было никакихъ цѣлей и надеждъ кромѣ любви, и когда эту любовь обстоятельства вырвали у дѣвушки, она дѣлается безучастной къ жизни и слѣпо отдается теченію. Теченіе это въ лицѣ матери и совѣта сосѣдей присуждаетъ Таню отдать замужъ, ее вывозятъ просватывать и выдаютъ; она не сопротивляется: ей все равно. Но жизнь беретъ свое. Татьяна оправилась отъ утраты, дѣтей у нея нѣтъ, натура съ задатками силы требуетъ дѣятельности и княгиня Татьяна увѣровала въ божество свѣта. Она со строгостью весталки отдалась служенію этому свѣту и его понятію о долгѣ, не выработавъ этого понятія собственнымъ опытомъ, не провѣривъ даже его, а принявъ на вѣру въ томъ видѣ, какъ оно сложилось у массы. И вотъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, вмѣсто любящей искренней деревенской дѣвушки, мы находимъ холодную нравственную ханжу, строгую блюстительницу свѣтскихъ приличій, нѣчто въ родѣ княгини Маріи Алексѣвны. Она отталиваетъ отъ себя давно и глубоко любимого человѣка и жертвуетъ своимъ чувствомъ соблюденію той „формальной“

вѣрности мужу, которая не мѣшаетъ стремиться мыслью къ одному и отдаваться въ то же время другому.

Женщины романа „Герой нашего времени“ — времени еще большаго нравственнаго упадка, не представляютъ намъ и тѣхъ рѣзкихъ и своеобразныхъ чертъ, которыя мы видимъ въ Татьянѣ. Онѣ витають, разумѣется, исключительно въ области любви, но въ своихъ идеалахъ ищутъ „интересности“. Понятіе объ интересности мѣняется съ временемъ и мѣстностью, но русская интересность того времени представляется чистымъ сумбуромъ. Она заключалась въ смутномъ стремленіи „къ чему-то“, въ страданіяхъ „по чему-то“, и вся эта туманность должна быть облачена въ изящную наружность, обладать взоромъ общающимъ пылкую страсть и особенное блаженство. Женщинамъ названнаго нами романа попадаетъ Печоринъ, человѣкъ нѣсколько глубже ежедневной интересности, но и онъ плѣняетъ женщинъ не тѣмъ, чѣмъ онъ глубокъ, не трагизмомъ, который въ немъ шевелится и слышится, а именно своей „интересностью во всѣхъ отношеніяхъ“. И если-бы не было Печорина, то эту должность могъ бы исправлять и Грушницкій, — человѣкъ „просто интересный“. И вотъ дѣвушка, полюбившая Печорина мгновенно вмѣсто любви пылаетъ къ нему ненавистью, какъ скоро узнаетъ, что Печоринъ не имѣетъ „благородныхъ намѣреній“, а замуженная женщина, при любви къ которой „благородныхъ намѣреній“, питать не

полагается, отдается ему не только не разрывая связи съ первымъ мужемъ, но даже по смерти одного выходить, продолжая любить Печорина, за другаго. Положимъ, Печоринъ не говоритъ княжнѣ о своихъ неблагородныхъ намѣреніяхъ; а просто объясняетъ, что онъ не любитъ ее, но онъ говоритъ тоже самое и Вѣрѣ, и княжна, какъ и Вѣра, очень хорошо понимаетъ, что это вздоръ, что это только своего рода интересность и что любить „безъ благородныхъ намѣреній“, т. е. не на законномъ основаніи Печоринъ вовсе не прочь. Княжна Мери и Вѣра—женщины совершенно одного закала, только у первой нервы нѣсколько еще покрѣпче нежели у послѣдней и читатель увѣренъ, что если-бы любящая Вѣра была дѣвушкой, то отвѣчала бы ему какъ Мери, а если бы Мери была замужемъ то, по всей вѣроятности, оказалась бы столько же безсильной какъ и Вѣра передъ взоромъ, „общающимъ безконечное блаженство“. Онъ обѣ, Мери и Вѣра, обращаютъ на себя вниманіе какъ образецъ существовашаго въ то время — да невымершаго и до днесь — ложнаго отношенія женщины къ мужчинѣ, мелкоты ея отъ него требованій и изращенности нравственныхъ понятій, такъ что выведенная въ томъ же романѣ совершенная дикарка и дитя природы черешенка Белла стоитъ во всѣхъ отношеніяхъ головой выше ихъ. Да и вообще настоящій разборъ доказываетъ намъ, что свѣтскій слой общества рѣшительно не-

благопріятель у насъ для развитія женщины. Прежде всего мы это видѣли на Софѣ Фамусовой, потомъ на Татьянѣ, которая при переселеніи изъ деревенской глуши въ высшій столичный кругъ измѣняется такъ невыгодно для себя. Въ Мери и Вѣрѣ мы не находимъ тоже никакого задатка къ строгому и разумному взгляду на жизнь. Какъ будто для подтвержденія этого факта является и Маша (изъ Затишья). Маша—первая въ русской литературѣ вполне цѣльная и строгая по природѣ дѣвушка, которая смотритъ на мужчину какъ на дѣтеля и обращается съ нему съ умной требовательностью. И дѣвушка эта не только всецѣло принадлежитъ деревнѣ, но еще одной изъ самыхъ глухихъ захолустьевъ—„затишью“. Дочь помѣщика, она даже не барышня. Она не болтаетъ по-французски, не любитъ читать—разумѣется романовъ, потому что другаго чтенія у дѣвицъ тогда не было,—не любитъ свѣта, а любитъ работать, дѣлать что-либо. Этотъ выводъ нисколько не говоритъ, что необразованность и неразвитость лучше образованія; невѣжество и малоразвитость были одинаковы и въ барскомъ домѣ маленькаго помѣщика и въ барскихъ палатахъ столичныхъ тузовъ; только первыя были грубѣе и обнаженнѣе, а вторыя лучше замазаны вѣшнимъ лоскомъ. Но выводъ доказываетъ, что когда общество одинаково невѣжественно, то тѣ счастливыя натуры, на здравый умъ которыхъ менѣе всего вліяли установленныя въ массѣ

предразсудки и узкія понятія, отдаваясь этому собственному здоровому смыслу и влеченію естественныхъ чувствъ стоятъ по своему развитію несравненно выше, несравненно болѣе удовлетворяютъ разумнымъ требованіямъ жизни, чѣмъ натуры извращенныя вліяніемъ всѣхъstadныхъ понятій невѣжественнаго и натертаго только снаружи общества. Маша полюбила человѣка, въ которомъ живая натура и маленькіе забавляющіе таланты общались—и не въ глазахъ только любящей дѣвушки—высокодаровитаго дѣятеля. Но въ человѣкѣ этомъ не оказалось никакой стойкости, никакой привычки къ труду. Маша это замѣчаетъ, и не смотря на глубокую любовь свою постоянно настойчиво требуетъ, отъ своего избраннаго дѣла. Она требуетъ его тѣмъ настойчивѣе, что по ея понятіямъ общественная дѣятельность существуетъ только для мужчины, что женщинѣ суждено только узкій кругъ домашней жизни и помощницы своего избраннаго, что ей, женщине, какъ она выразилась, „можно не думать о будущемъ“. И кто, вспомнивъ время, въ которое жила Маша, время, когда и для мужчинъ всякая независимая дѣятельность была почти невозможна, осудить ее за эти понятія?

Но никакія побужденія Маши не въ состояніи были вдохнуть силу и стойкость въ изломаннаго и жиденькаго человѣка, котораго по несчастію полюбила она. А между тѣмъ эта любовь Маши была для нея

все. Это не была любовь свѣтскихъ женщинъ, ищущихъ въ ней только развлеченія. Дѣвушка, съ такой сильной натурой, какъ Маша, не чувствуетъ въ себѣ силы мѣнять привязанность, да и кого выберетъ она въ такомъ захолусты другаго, когда самый многообщающій изъ мужчинъ оказался ничтожностью? А помимо любви еще нѣтъ ничего влекущаго, живаго кругомъ бѣдной дѣвушки. Съ отъѣздомъ Веретева, обыкновенная мелкая жизнь въ глуши, осенью, налегаетъ всей тяжестью своей пустоты на полную силу и жаждущую жизни дѣвушку, — и Маша не выносить этой удушающей пустоты; она не видитъ изъ нея выхода и предпочитаетъ смерть, — полную смерть этой медленно-мертвящей жизни. И эта смерть дѣвушки съ глубокой и сильной натурой и съ самыми честными и разумными стремленіями и смерть не въ минуту какого-нибудь порыва страсти кладетъ страшную черту, освѣщаетъ ужаснымъ свѣтомъ ту мертвящую и убивающую эпоху, въ которую суждено было жить этой дѣвушкѣ! И понимала ли Маша, что воздухъ, отравленный ядомъ Анчара, описаніемъ котораго она наслаждалась въ стихахъ Пушкина, не былъ болѣе убійственъ, чѣмъ русскій воздухъ современной ей эпохи для всякой выдающейся изъ ряда честной и сильной личности?

Лиза Калитина не представляетъ собою какого-нибудь опредѣленнаго момента въ развитіи русской мысли; она принадлежала и принадлежитъ всему періоду за-

стоя и даже—чему мы видимъ примѣръ въ католическихъ странахъ—можетъ идти далѣе его. Она, какъ и Татьяна, жертва ложнаго пониманія долга и ложныхъ, мистически-религіозныхъ понятій. Собственно русская особенность этихъ воззрѣній состоитъ въ томъ, что они не привиты непосредственно клерикальнымъ воспитаніемъ, а изъ древне-духовнаго аскетическаго ученія проникли въ народъ, смѣшались съ его идолопоклонствомъ и, еще искаженныя невѣжествомъ, уже стали снизу заражать малопросвѣщенные классы и даже были приняты нѣкоторыми болѣе честными и добросердечными, чѣмъ проницательными людьми, за существенную, да еще и уважаемую принадлежность русской народности! Мудрено ли послѣ этого, что полуобразованная молоденькая дѣвушка становится жертвою этихъ воззрѣній, когда такой начитанный и многovidѣвшій господинъ, какъ славянофилъ Лаврецкій, не возмущался ими и не счумѣлъ, пользуясь своимъ вліяніемъ на дѣвушку, показать ей всю ложь ея взглядовъ!

Помимо Лизы Калитиной прямыми и послѣдовательными представительницами своего времени являются Наташа Ласунская и Елена Инсарова. До нихъ, какъ мы видѣли, лучшія русскія дѣвушки инстинктивно стремились къ чему-то лучшему, но и это стремленіе ограничивалось въ нихъ выборомъ человѣка, которому они отдавали любовь свою. При этомъ, здравый разсудокъ былъ единственнымъ ихъ руководителемъ и онъ дѣй-

ствовали безукоризненно, пока слушались его. Окружающія дѣвушекъ понятія, когда онѣ отдавались имъ, дѣйствовали на нихъ губительно, да и сами ихъ избранные, связь съ которыми не могла установиться ни на условныхъ, ни на естественныхъ основахъ, не подавали имъ помощи, не развивали ихъ своимъ вліяніемъ, не указывали имъ на ихъ ошибки. Не то начинается со времени двухъ названныхъ нами дѣвушекъ.

Рудинъ не только влюбляетъ въ себя, но онъ пробуждаетъ Наташу, онъ и любовь-то ея вызвалъ къ себѣ силой своего развивающаго слова. Конечно, не всѣ слушавшія его женщины влюблялись въ него, но несомнѣнно на всѣхъ ихъ отразилась такъ или иначе его пробуждающая рѣчь. И вотъ мы видимъ дѣвушку, которая уже не стремится только любить, но которая ищетъ въ мужчинѣ учителя и руководителя, ищетъ дѣла себѣ, хотя еще и ограничиваетъ свое участіе въ немъ ролью помощницы: она уже стремится переступить за черту хозяйки, жены или любовницы. Рудинъ еще находится въ тѣхъ же роковыхъ условіяхъ одиночества, которыя мѣшали и его предшественникамъ идти объ руку съ любимой женщиной; но вліяніе Рудина все-таки оказалось, переходъ или стремленіе къ переходу — явилось.

Въ Еленѣ мы видимъ и самый этотъ переходъ. Исаровъ былъ человекъ дѣла, за это полюбила его Елена. Она и отдалась вполнѣ беззавѣтно не только

ему, но и его дѣлу: когда Инсаровъ умираетъ—она слѣпо идетъ по пути, по которому онъ думалъ идти съ ней. Она не думаетъ о томъ, что этотъ путь ей совершенно теменъ, почти неизвѣстенъ, что она могла идти по немъ только опираясь на опытную руку и что есть другіе подобныя пути болѣе ей сподручныя, близкіе, на которыхъ она-бы могла дѣйствовать самостоятельно и сознательно; она остается слѣпо вѣрна дѣлу своего возлюбленнаго, и вся отдается ему. Но не будемъ винить Елену. Нужды нѣтъ, что мысль ея выражаемая не нова, что и сама Елена напоминаетъ намъ тѣхъ русскихъ женщинъ доонѣгинской эпохи, которыя оставили имена свои не въ литературѣ, лишенной возможности рисовать ихъ образы, женщинъ, которыя тоже вырывались изъ узкой рамы хозяйки и любовницы и шли за своими избранными далеко дальше теплыхъ стѣнъ семейной жизни. Образъ Елены является намъ отраднымъ явленіемъ уже потому, что послѣ долгаго пути упадка и медленнаго возстановленія, мы видимъ русскую мысль снова на томъ уровнѣ развитія, до котораго она доходила во времена наиболѣе благопріятныя для ея развитія, что за этимъ переваломъ мы имѣли право надѣяться на дальнѣйшія и совершенно новыя въ русской жизни шаги женскаго развитія. И надежды эти оправдались: не даромъ романъ, въ которомъ явилась Елена, называется „Наканунъ“. Поэтому не только хронологическому, но и нрав-

ственному порядку мы имѣемъ право назвать послѣдующихъ представительницъ развитія женской задачи, общимъ именемъ „новыхъ женщинъ“.

Дѣла, представляющагося женщиной при ея первой попыткѣ стать на собственныя ноги, было много. Прежде всего ей слѣдовало выйти изъ той узкой, одуряющей атмосферы любви, куда до сихъ поръ исключительно загоняли ее, гдѣ ей воздвигали храмы, курили благовонія и дѣлали ее и жрицей и жертвой. По многимъ причинамъ мы не посвящали особой статьи женщинамъ пытавшимся разорвать сложившіяся понятія о любви, хотя вопросъ, въ разрѣшенію котораго стремились онѣ, пустилъ самыя глубокіе корни въ общественной жизни и переживаетъ многіе другіе вопросы, въ настоящее время, кажушіеся инымъ, болѣе существенными. Поэтому и здѣсь мы только замѣтимъ, что одна изъ этихъ женщинъ пытались устранить тотъ глупый трагизмъ, который сопровождалъ и не могъ, по мнѣнію такъ называемаго образованнаго общества, не сопровождать неизбежно, какъ возмездіе, всѣ столкновенія, въ которыхъ измѣнчивое чувство постоянно ставило женщину связанную съ однимъ, когда она начинала любить другаго. Иныя пытались снять съ любви и именно съ любви страстной и безумной, тотъ ореолъ, которымъ окружали ее тупыя и извращенныя понятія рыцарскаго времени. Онѣ перестали смотрѣть на любовь, какъ на исключительно женское и возвышенное занятіе.

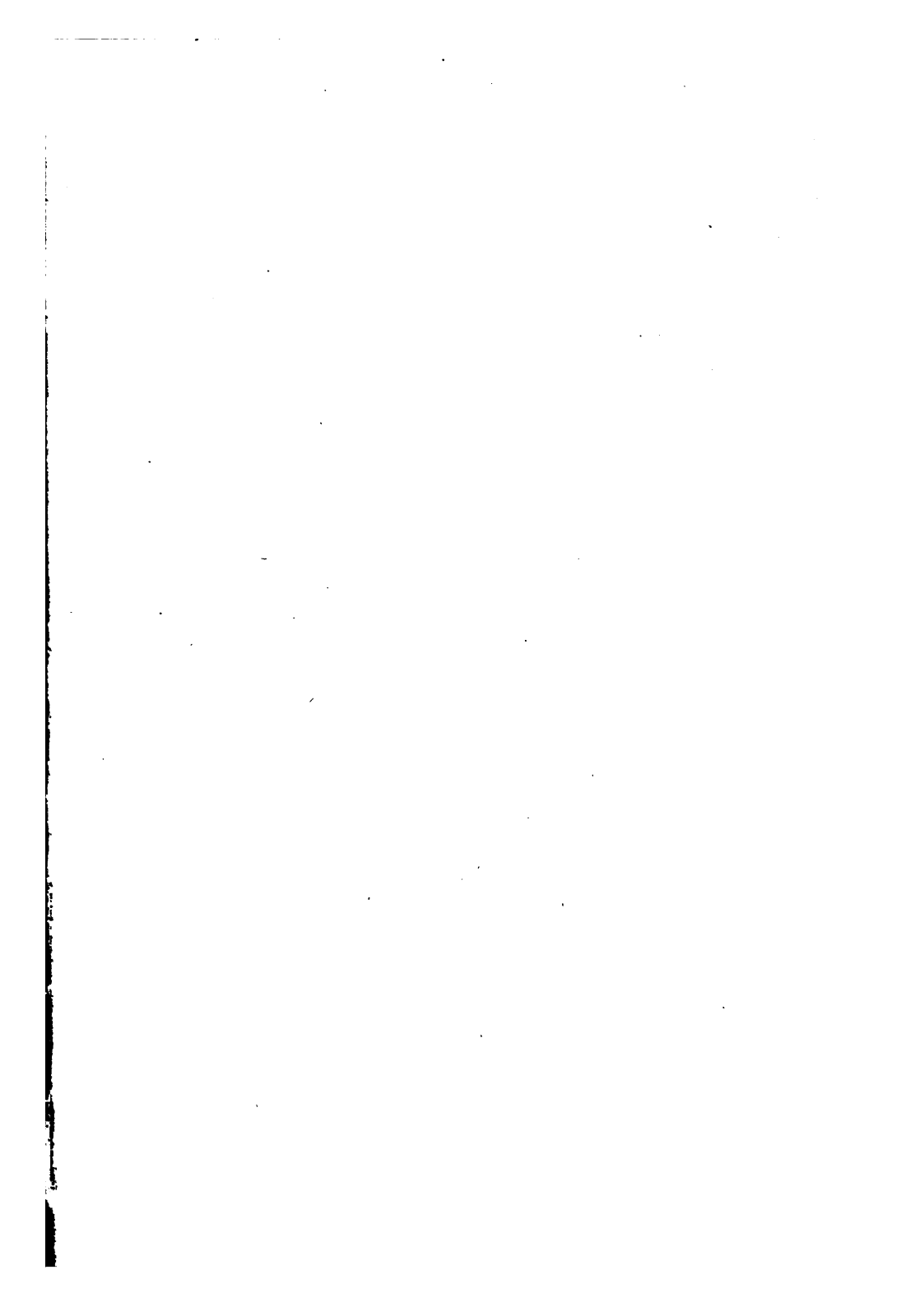
Въ той страшной и безумной любви, которая, чѣмъ была сильнѣе, тѣмъ считалась возвышеннѣе, онѣ видѣли (раздѣляя впрочемъ этотъ взглядъ съ мужчинами, или даже у нихъ его заимствуя) просто страсть, т. е. не нормальное, болѣзненное состояніе, съ которымъ нужно бороться какъ съ недугомъ, какъ со всякой страстью, будетъ ли предметомъ ея вино, карты, наряды, лошади или чья нибудь личность. Иныя пытались, наконецъ, въ дѣлѣ любви, завоевать себѣ тѣ права, которыя мужчины оставили исключительно за собою и потребность любви низводили для женщинъ, какъ и для мужчинъ въ число тѣхъ естественныхъ и обычныхъ стремленій, на которыя должно смотрѣть трезвымъ и не предубѣжденнымъ взглядомъ и не вѣшивать въ нихъ отжившія и весьма условныя понятія какой-то рыцарской чести, а замѣнять ихъ откровенной прямою и честностью дѣйствій. Иныя изъ женщинъ, сообразивъ совершенно основательно, что независимость нравственная не можетъ существовать безъ независимости матеріальной, занялись экономической стороной вопроса, — вопросомъ о собственномъ хлѣбѣ, можетъ быть забывая даже въ первомъ увлеченіи, что добываніе этого хлѣба должно быть не столько цѣлью, сколько средствомъ и что важно избавить себя отъ эксплуататоровъ, а не перемѣнять одного на другаго.

Наконецъ женщина, на которой мы болѣе всего остановили вниманіе, Марья Щетинина („Трудное вре-

мя“ Слѣпцова) уже стремится къ какой-то болѣе широкой дѣятельности: она еще, ищетъ ее объ руку съ мужчиной, но тотчасъ бросаетъ эту руку, когда замѣчаетъ, что возжатый не удовлетворяетъ ея намѣренія. Надобно однако замѣтить, что стремленія Щетининой иманно вслѣдствіе своей широты страдаютъ неопредѣленностью и что пока въ самой женщинѣ не выработаются они въ ясно сознанную и обдуманную задачу, все дѣло будетъ ограничиваться стремленіемъ и разумѣется разочарованіями. Даже при строго опредѣленныхъ и ограниченныхъ цѣляхъ, какія были, на примѣръ, у Вѣры Павловны и другихъ,—мы видимъ, что цѣли эти постоянно не достигаются, что усилія поступательнаго движенія не въ состояніи преодолѣть встрѣчаемаго сопротивленія. Изъ этого мы въ правѣ прійти къ мысли, высказанной уже нами, какъ мы замѣтили, въ одномъ литературномъ произведеніи, что одиночныя, неорганизованныя точно и разумно стремленія, долго не будутъ достигать тѣхъ здравыхъ и полезныхъ цѣлей, къ которымъ стремится современная женщина, хотя цѣли эти по существу своему такъ ясно полезны и такъ далеки отъ всякихъ мечтательныхъ преувеличеній, что при спокойномъ и настойчивомъ стремленіи не могутъ, повидимому, въ глазахъ просвѣщенныхъ людей, ни съ какой стороны ожидать неодолимыхъ препятствій.

К О Н Е Ц Ъ .

3. 11. 11. 11. 11.





THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY
ON OR BEFORE THE LAST DATE
STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF
OVERDUE NOTICES DOES NOT
EXEMPT THE BORROWER FROM
OVERDUE FEES.

~~CANCELLED~~
WIDENER
BOOK DUE
SEP 26 1987
2401907

~~CANCELLED~~
WIDENER
BOOK DUE
OCT 30 1987
2422208